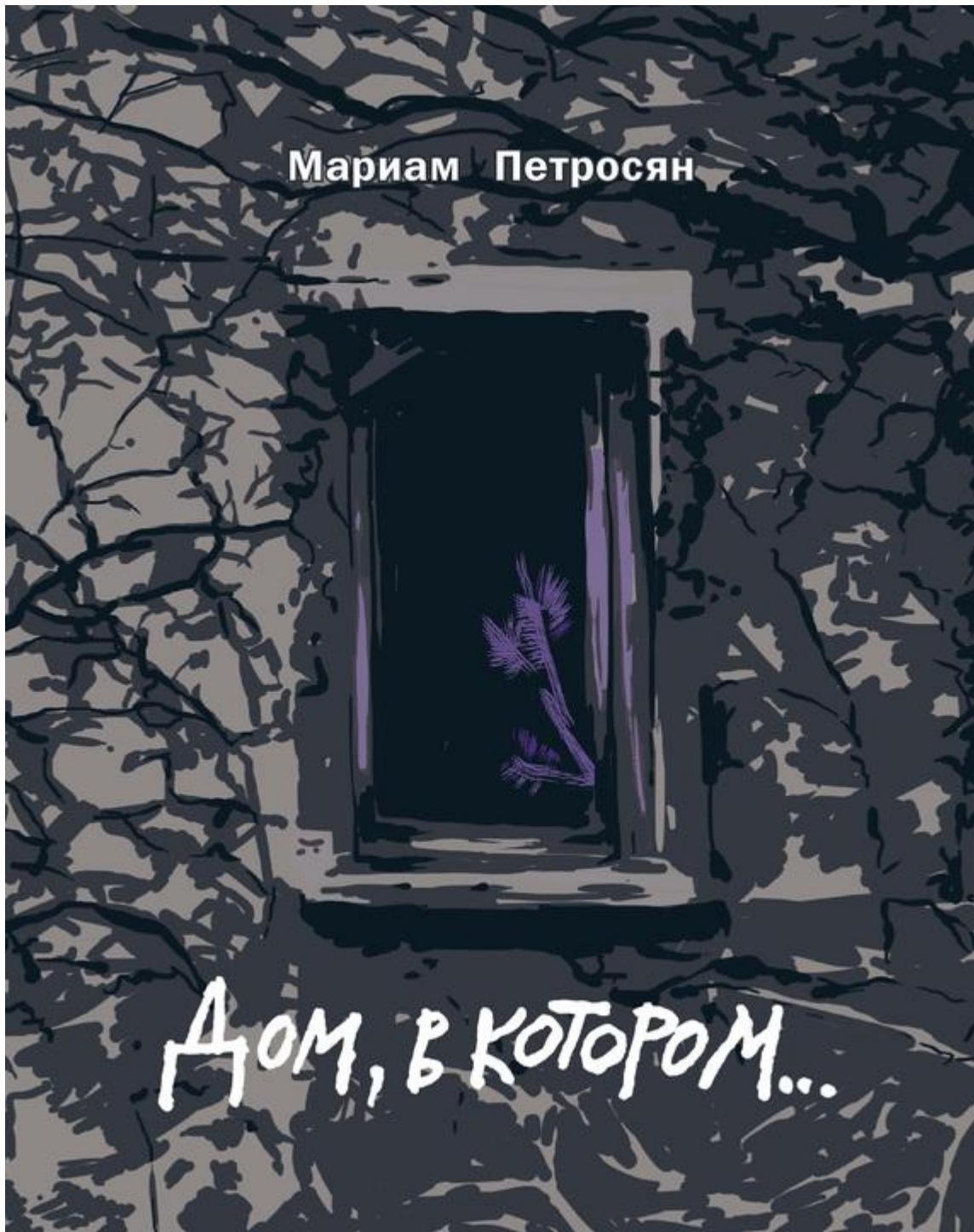


**Мариам Петросян
Дом, в котором...**



http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6714012&lfrom=17644431&ffile=1
«Дом, в котором...»: Livebook;
ISBN 978-5-9908081-0-2

Аннотация

Роман «Дом, в котором...» еще в рукописи стал победителем читательского голосования премии «Большая книга», а после публикации – настоящим литературным событием: он получил целый ряд премий («Русская премия», «Студенческий Букер»,

«Портал» и другие), переведен на девять языков и почти десять лет не покидает списки бестселлеров. Критики пытаются объяснить феноменальный успех романа, а литературоведы посвящают ему статьи и диссертации. Для сотен тысяч людей «Дом» стал книгой-паролем, по которому узнают «своих».

В новое издание вошли ранее не публиковавшиеся отрывки, а также иллюстрации читателей, которые абсолютно и бесповоротно, раз и навсегда влюбились в «Дом».

«Книга, которую вы держите в руках – книга культовая, фанатская, субкультурная. Но не только: как бы банально это ни прозвучало, я завидую тем, кто именно сейчас держит «Дом» в руках впервые – считайте, что специально к вашему визиту в нем сделали генеральную уборку. Заходите, обустраивайтесь. Не ходите к фазанам и постараитесь не потеряться в Лесу. Кофе и прочие напитки вы найдете на втором этаже. Поверьте, вы останетесь здесь надолго». (Галина Юзефович, литературный критик).

Больше интересных фактов об этой книге читайте в [ЛитРес: Журнале](#)

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Мариам Петросян Дом, в котором...

© Мариам Петросян, 2016

© ООО «Издательство “Лайвбук”», 2016

* * *

Благодарности

Издательство Livebook благодарит всех художников, давших жизнь сотням иллюстраций к книге «Дом, в котором...». Быть издателями книги, которая вдохновила столько прекрасных людей, для нас честь и радость.

Спасибо за то, что так искренне любите книгу «Дом, в котором...».

Спасибо авторам иллюстраций, вошедших в книгу, за то, что доверили нам свои работы.

Издательство Livebook

P. S. Мы очень надеемся, что работы художника Ангела Ти, которые не попали в сборник, по независящим от издательства причинам, однажды появятся на страницах иллюстрированного издания «Дом, в котором...»

Предисловие

«Дом в котором...» Мариам Петросян из числа книг, с которыми решительно непонятно, что делать. Которые упрямо ускользают от пересказа, отказываются разлагаться на составные части, не терпят сравнений и вообще всеми способами противятся стандартным методам анализа, которыми привык оперировать критик. Таких книг мало – за всю мою уже очень долгую профессиональную карьеру я считанное число раз оказывалась в положении, когда все, на что ты способен по прочтении, это размахивать руками и беспомощно взбулькивать. Чистое волшебство встречается в мире редко, а когда встречается, плохо поддается осмыслинию и описанию. Механизм и природу этого волшебства лучше всего, пожалуй, описала сама Мариам: «Я не писала эту книгу, я в ней жила. Для меня это было местом, куда я (исписав гору бумаги) могла войти и просто побывать там».

За семь лет, прошедшие с первого моего знакомства с «Домом», я не научилась лучше

объяснять, в чем состоит суть его притягательности – даже несмотря на то, что перечитала его за это время один раз целиком и еще один – фрагментами, зато с карандашом в руке. Каждый раз, возвращаясь оттуда, я по-прежнему чувствую себя девочкой Люси, которая, вылезши из платяного шкафа, не могла толком объяснить, что же увидела внутри, в Нарнии, и, как результат, ей никто не верил. Книжка про интернат для детей-инвалидов? Спасибо, не надо. Подростковая фэнтези? Замечательно, обойдемся. «Дом» словно бы накладывает на своих посетителей запрет – покинув его кров, они теряют способность рассказывать об увиденном в его зачарованных пределах.

Однако – и это очень хорошая новость – несмотря на это и вопреки всему за минувшие годы вокруг книги Мариам Петросян сложился уверенный и неуклонно расширяющийся культ. Для огромного числа людей «Дом, в котором...» стал секретным паролем, по которому безошибочно опознают своих, тайным садом, куда приглашают друзей и тех, кто мог бы ими стать. У меня самой человек, говорящий «Я люблю „Дом, в котором...“» немедленно вызывает безотчетную симпатию и доверие – при прочих равных, мой выбор (о чем бы ни шла речь) будет в его пользу. Я рекомендую эту книгу тем, с кем чувствую душевное и духовное родство. Словно бы продолжая начатые Мариам магические практики («исписать гору бумаги, чтобы хоть немного побывать в Доме»), поклонники пишут фанфики и устраивают ролевые игры по мотивам романа, а еще до хрипоты спорят о нем друг с другом, сочиняют песни и, конечно же, рисуют иллюстрации.

Нынешнее издание стало результатом этого странного, пограничного – на стыке фантазии и жизни – бытования «Дома». Иллюстрации, вошедшие в книгу, родились в рамках фанатской субкультуры (включающей, помимо прочего, и многих профессиональных художников), а дополнительные страницы были добавлены автором по настоятельным просьбам поклонников, желавших знать некоторые существенные подробности. И то, и другое размывает рамки текста, интегрируя его в нашу жизнь, стирая границу между вымыслом и реальностью и, по сути дела, превращая одно в другое. В нашей жизни все больше «Дома», а в «Доме» все больше нас. И как профессиональный читатель я могу сказать: ни с одной другой книгой на моей памяти не происходило ничего подобного. Наблюдать за этим, быть частью этого головокружительного процесса, обживаться в Доме и рисовать на его стенах собственные знаки – самый волнующий, самый невероятный книжный опыт, который только можно себе вообразить.

Иными словами, книга, которую вы держите в руках, – книга культовая, фанатская, субкультурная. Но не только: как бы банально это ни прозвучало, я завидую тем, кто именно сейчас держит «Дом» в руках впервые, – считайте, что специально к вашему визиту в нем сделали генеральную уборку. Заходите, обустраивайтесь. Не ходите к Фазанам и постараитесь не потеряться в Лесу. Кофе и прочие напитки вы найдете на втором этаже. Поверьте, вы останетесь здесь надолго.

Галина Юзефович, литературный критик

Предисловие-предупреждение от автора

Это книга для истинных фанатов «Дома», для любителей докапываться до мельчайших деталей, для тех, кто желает знать «всё–всё, что есть Дом». Она не для тех, кто читает «Дом, в котором...» впервые.

На встрече с читателями в Питерском «Буквоеде», где впервые было объявлено об этом издании, один молодой человек спросил меня, стоит ли ему покупать «Дом» или имеет смысл подождать, пока выйдет книга с дополнениями. Я ответила, что дополнения предназначены только тем, кого сильно зацепило. Жаждущим подробностей. Тем, кто после просмотра полюбившегося фильма смотрит и «не вошедшее», и документальный фильм о том, как это снималось, и вообще все, что удастся найти. Для первого раза лучше просто

посмотреть кино. Возможно, оно вам не понравится.

Это было предупреждение.

С этого места я обращаюсь только к вам – к тем, кто жил Домом, собирая сообщества, играл, рисовал, писал, задавал вопросы и отвечал на них лучше, чем ответила бы я сама. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь и преданность «Дому», за ваши замечательные отзывы, рисунки, стихи и фотографии, за кукол, за журнал «Блюм», за удивительные подарки на встречах, и вообще за то, что вы есть.

Тема «не вошедшего» возникла на встрече с читателями в Воронеже. Мне предложили прочесть любой отрывок из «Дома», на свое усмотрение. Но читать знакомый большинству собравшихся текст показалось неинтересным. Обычно на таких встречах авторы читают что-то новое. Поскольку ничего нового у меня не было, я решила использовать неизвестное старое.

После встречи оказалось, что не вошедшие в книгу отрывки интересуют очень многих. Настолько многих, что имеет смысл что-то по этому поводу предпринять. А когда выяснилось, что издательство «Лайвбук» готово выпустить «Дом» не просто с дополнениями, а с иллюстрациями читателей, я поняла, что сбываются мои самые заветные мечты. Что подарок получит скорее автор книги, чем читатели.

К сожалению, прекрасных иллюстраций к книге так много, что им требуется отдельная книга. Я этим неимоверно горжусь, и в то же время мне очень обидно, что именно сюда они все не поместятся. Как, полагаю, и вам.

Три замечательных художника проиллюстрировали книгу практически целиком. Очень по-разному. Мне бы хотелось увидеть три совершенно разные книги, оформленные ими, но я понимаю, что это невозможно. Даже выбрать по три-четыре лучшие иллюстрации от каждого оказалось для меня непосильной задачей.

Сейчас, когда я пишу это предисловие, я еще не знаю, что из того, что мне так нравится, войдет в эту книгу, а что нет, поэтому, наверное, лучше вернуться к теме дополнений.

Кого-то может удивить, что их немного. Но я решила не включать в эту книгу ничего, что противоречило бы уже опубликованному тексту. Таким образом, отпали все сцены, несовместимые с окончательным вариантом книги, все версии, не совпадающие с основным сюжетом, и всё, по тем или иным причинам, незавершенное. По ходу дела я вытаскивала из отвергнутых глав самые любимые кусочки и пристраивала их в другие места, а поскольку они и так были невелики, оставшееся слегка напоминает дуршлаг, и такие главы, конечно, тоже не хотелось использовать. После исключения всего вышеперечисленного осталось не так уж много. Поэтому, чтобы не разочаровать вас, я сделала исключение для нескольких отрывков¹.

Всё, относящееся к первой книге, было бесконечным переписыванием одних и тех же сцен. Сюжетно они не отличались, менялся только стиль повествования. Чтобы дать вам представление, как это выглядело, я включила в эту книгу одну из таких сцен. (Я честно перерыла горы тетрадей в поисках описания внешности Македонского, но ничего не нашла – везде описываются только проклятые рукава. Но он все равно шатен.)

В интермедиях некоторые главы были просто длиннее. Опять же, здесь есть две такие.

Из незавершенных сцен сюда вошел отрывок с Седым. Он существовал в трех вариантах, с одинаковым началом и разными окончаниями. Я так и не остановилась ни на одной из версий (со Сфинксом вечно так), и в конце концов решила его убрать. Любая удаленная глава, даже самая маленькая, оставляет после себя дыру, которая смутно ощущается при чтении. Такие дырки я тщательно маскировала, надеясь, что делаю это хорошо. На самом деле, не настолько хорошо, как мне казалось, но это выяснилось уже

¹ Все дополнения автора в тексте выделены ремаркой «публикуется впервые» (*От. изд.*)

потом. Отрывок с возвращением в Дом Седого был настолько непредсказуем, что мне казалось, его не вычислит никто. Так что женщина из Воронежа, докопавшаяся до этой, самой незаметной на мой взгляд дырки, просто потрясла меня своей интуицией. Я не помню, как ее звали, но для таких сыщиков, как она, стоило поломать голову и выбрать один из трех вариантов.

Основной урожай «не вошедшего» дала вторая книга.

Некоторых читателей может заинтересовать, по какой причине опубликованные здесь отрывки были удалены. В основном – потому, что они сильно перегружали текст. Во второй книге говорили слишком многие. Это многоголосье заглушало основного рассказчика – Табаки. Мой папа, один из читателей рукописи, пожаловался, что текст похож на мозаику, вернее, на пазл, который надо мучительно собирать по кусочкам, прежде чем поймешь, что к чему. Поэтому я оставила возможность высказаться только двоим, переделала главу Крысы (тоже написанную от первого лица) и выкинула всех остальных.

Тогда мне и в голову не могло прийти, что у книги окажется достаточное количество фанатов, которых не запугаешь складыванием пазлов. Но раз уж вы существуете, давайте сыграем в эту игру еще раз и пристроим несколько кусочков картинки на те места, откуда их когда-то вытащили.

Мариам Петросян



* * *

Дом стоит на окраине города. В месте, называемом Расческой. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов – предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, – обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым «расчесочникам», чем их собственные дворы – интервалы между зубьями.

На нейтральной территории между двумя мирами – зубцов и пустырей – стоит Дом. Его называют Серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям – захоронениям его ровесников. Он одинок – другие дома сторонятся его – и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на трассу, у него тоже есть двор – длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Когда-то он был белым. Теперь он серый спереди и желтый с внутренней, дворовой стороны. Он щетинится антеннами и проводами, осыпается

мелом и плачет трещинами. К нему жмутся гаражи и пристройки, мусорные баки и собачьи будки. Все это со двора. Фасад гол и мрачен, каким ему и полагается быть.

Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители Расчесок предпочли бы не иметь его рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще.

Книга первая Курильщик

Некоторые преимущества спортивной обуви

[Курильщик]

Все началось с красных кроссовок. Я нашел их на дне сумки. Сумка для хранения личных вещей – так это называется. Только никаких личных вещей там не бывает. Пара вафельных полотенец, стопка носовых платков и грязное белье. Все, как у всех. Все сумки, полотенца, носки и трусы одинаковые, чтобы никому не было обидно.

Кроссовки я нашел случайно, я давно забыл о них. Старый подарок, уж и не вспомнить чей, из прошлой жизни. Ярко-красные, запакованные в блестящий пакет, с полосатой, как леденец, подошвой. Я разорвал упаковку, погладил огненные шнурки и быстро переобулся. Ноги приобрели странный вид. Какой-то непривычно ходячий. Я и забыл, что они могут быть такими.

В тот же день после уроков Джин отозвал меня в сторонку и сказал, что ему не нравится, как я себя веду. Показал на кроссовки и велел снять их. Не стоило спрашивать, зачем это нужно, но я все же спросил.

– Они привлекают внимание, – сказал он.

Для Джина это нормально – такое объяснение.

– Ну и что? – спросил я. – Пусть себе привлекают.

Он ничего не ответил. Поправил шнурок на очках, улыбнулся и уехал. А вечером я получил записку. Только два слова: «Обсуждение обуви». И понял, что попался.

Сбивая пух со щек, я порезался и разбил стакан из-под зубных щеток. Отражение, смотревшее из зеркала, выглядело до смерти напуганным, но на самом деле я почти не боялся. То есть боялся, конечно, но вместе с тем мне было все равно. Я даже не стал снимать кроссовки.

Собрание проводилось в классе. На доске написали: «Обсуждение обуви». Цирк и маразм, только мне было не до смеха, потому что я устал от этих игр, от умниц-игроков и самого этого места. Устал так сильно, что почти уже разучился смеяться.

Меня посадили у доски, чтобы все могли видеть предмет обсуждения. Слева за столом сидел Джин и сосал ручку. Справа Длинный Кит с треском гонял шарик по коридорчикам пластмассового лабиринта, пока на него не посмотрели осуждающее.

– Кто хочет высказаться? – спросил Джин.

Высказаться хотели многие. Почти все. Для начала слово предоставили Сипу. Наверное, чтобы побыстрее отделаться.

Выяснилось, что всякий человек, пытающийся привлечь к себе внимание, есть человек самовлюбленный и нехороший, способный на что угодно и воображающий о себе невесть что, в то время как на самом деле он просто-напросто пустышка. Ворона в павлиньих перьях. Или что-то в этом роде. Сип прочел басню о вороне. Потом стихи об осле, угодившем в озеро и потонувшем из-за собственной глупости. Потом он хотел еще спеть что-то на ту же тему, но его уже никто не слушал. Сип надул щеки, расплакался и замолчал. Ему сказали спасибо, передали платок, заслонили учебником и предоставили слово Гулю.

Гуль говорил еле слышно, не поднимая головы, как будто считывал текст с поверхности стола, хотя ничего, кроме поцарапанного пластика, там не было. Белая челка

лезла в глаз, он поправлял ее кончиком пальца, смоченным слюной. Палец фиксировал бесцветную прядь на лбу, но как только отпускал, она тут же сползала обратно в глаз. Чтобы смотреть на Гуля долго, нужно иметь стальные нервы. Поэтому я на него не смотрел. От моих нервов и так остались одни ошметки, незачем было лишний раз их терзать.

– К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы. На самом деле это не так. Посредством обуви он привлекает внимание к своим ногам. То есть афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду, не считаясь с нами и нашим мнением. В каком-то смысле он по-своему издевается над нами...

Он еще долго размазывал эту кашу. Палец сновал вверх и вниз по переносице, белки наливались кровью. Я знал наизусть все, что он может сказать, – все, что вообще принято говорить в таких случаях. Все слова, вылезавшие из Гуля, были такими же бесцветными и пересушенными, как он сам, его палец и ноготь на пальце.

Потом говорил Топ. Примерно то же самое и так же нудно. Потом Ниф, Нуф и Наф. Тройняшки с поросячими кличками. Они говорили одновременно, перебивая друг друга, и на них я как раз смотрел с большим интересом, потому что не ожидал, что они станут участвовать в обсуждении. Им, должно быть, не понравилось, как я на них смотрю, или они застеснялись, а от этого получилось только хуже, но от них мне досталось больше всех. Они припомнили мою привычку загибать страницы книг (а ведь книги читаю не я один), то, что я не сдал свои носовые платки в фонд общего пользования (хотя нос растет не у меня одного), что сижу в ванне дольше положенного (двадцать восемь минут вместо двадцати), толкаюсь колесами при езде (а ведь колеса надо беречь!), и наконец добрались до главного – до того, что я курю. Если, конечно, можно назвать курящим человека, выкуривающего в течение трех дней одну сигарету.

Меня спрашивали, знаю ли я, какой вред наносит никотин здоровью окружающих. Конечно, я знал. Я не только знал, я сам уже вполне мог бы читать лекции на эту тему, потому что за полгода мне скормили столько брошюр, статей и высказываний о вреде курения, что хватило бы человек на двадцать и еще осталось бы про запас. Мне рассказали о раке легких. Потом отдельно о раке. Потом о сердечно-сосудистых заболеваниях. Потом еще о каких-то кошмарных болезнях, но про это я уже слушать не стал. О таких вещах они могли говорить часами. Ужасаясь, содрогаясь, с горящими от возбуждения глазами, как дряхлые сплетницы, обсуждающие убийства и несчастные случаи и пускающие при этом слюни от восторга. Аккуратные мальчики в чистых рубашках, серьезные и положительные. Под их лицами прятались старушечьи физиономии, изъеденные ядом. Я угадывал их не в первый раз и уже не удивлялся. Они надоели мне до того, что хотелось отравить никотином всех сразу и каждого в отдельности. К сожалению, это было невозможно. Свою несчастную сигарету-трехдневку я выкуривал тайком в учительском туалете. Даже не в нашем, боже упаси! И если кого и травил, так только тараканов, потому что никто, кроме тараканов, туда не наведывался.

Полчаса меня забрасывали камнями, потом Джин постучал по столу ручкой и объявил, что обсуждение моей обуви закончено. К тому времени все успели забыть, что обсуждают, так что напоминание пришлоось очень кстати. Народ уставился на несчастные кроссовки. Они порицали их молча, с достоинством, презирая мою инфантильность и отсутствие вкуса. Пятнадцать пар мягких коричневых мокасин, против одной ярко-красной пары кроссовок. Чем дольше на них смотрели, тем ярче они разгорались. Под конец в классе посерело все, кроме них.

Я как раз любовался ими, когда мне предоставили слово.

И... сам не знаю, как так получилось, но я впервые в жизни сказал Фазанам все, что о них думал. Сказал, что весь этот класс со всеми в нем находящимися не стоит одной пары таких шикарных кроссовок. Так и сказал им всем. Даже бедному запугенному Топу, даже Братьям Поросятам. Я и в самом деле в тот момент так чувствовал, потому что не терплю предателей и трусов, а они были именно предателями и трусами.

Они, должно быть, решили, что я сошел с ума с перепугу. Только Джин не удивился.

— Вот ты и сказал нам то, что думал, — он протер очки и ткнул пальцем в кроссовки. — Дело было вовсе не в них. Дело было в тебе.

Кит ждал у доски с мелом в руке. Но обсуждение закончилось. Я сидел, закрыв глаза, пока они не разъехались. И просидел так еще долго, оставшись один. Усталость потихоньку вытекала из меня. Я сделал что-то выходящее за рамки. Повел себя, как нормальный человек. Перестал подлаживаться под других. И чем бы все это ни кончилось, знал, что никогда об этом не пожалею.

Я поднял голову и посмотрел на доску. «Обсуждение обуви. Пункт первый: самомнение. Пункт второй: привлечение внимания к общему недостатку. Пункт третий: наплевательское отношение к коллективу. Пункт четвертый: курение».

Кит умудрился сделать в каждом слове не меньше двух ошибок. Он почти не умел писать, зато единственный из всех мог ходить, поэтому во время собраний к доске всегда ставили его.

Следующие два дня никто со мной не разговаривал. Делали вид, что меня не существует. Я стал чем-то вроде привидения. На третий день такой жизни Гомер сообщил, что меня вызывают к директору.

Воспитатель первой выглядел примерно так, как выглядела бы вся группа, не маскируйся они зачем-то под мальчишек. Как старуха, сидевшая у каждого из них внутри, в ожидании очередных похорон. Гниль, золотые зубы и подслеповатые глазки. Хотя у него по крайней мере все было на виду.

— Уже и до дирекции дошло, — сказал он с видом врача, сообщающего пациенту, что он неизлечим. Потом еще какое-то время вздыхал и качал головой, глядя на меня с жалостью, пока я не начал чувствовать себя не очень свежим покойником. Достигнув нужного эффекта, Гомер, сопя и охая, удалился.

В директорском кабинете я был два раза. Когда только приехал и когда надо было вручить рисунок для выставки с дурацким названием «Моя любовь к миру». Результат своего трехдневного труда я окрестил «Древом жизни». Только отойдя от рисунка на пару шагов, можно было разглядеть, что «древо» усеяно черепами и полчищами червей. На близком расстоянии они казались чем-то вроде груш среди изогнутых веток. Как я и думал, в Доме ничего не заметили. Оценили мой мрачный юмор, должно быть, уже только на выставке, но как к этому отнеслись, я не узнал. Вообще, это даже не было шуткой. Все, что я мог сказать о своей любви к миру, примерно так и выглядело, как я там изобразил.

В мой первый визит к директору мелкие червячки в мировой любви уже копошились, хотя до черепов дело еще не дошло. Кабинет был чистый, но какой-то неухоженный. Видно было, что это не центр Дома, не то место, куда все стягивается и откуда вытекает, а так — сторожевая будка. В углу на диване сидела тряпичная кукла в полосатом платье с рюшами. Размером с трехлетнего ребенка. И всюду торчали пришпиленные булавками записки. На стенах, на шторах, на спинке дивана. Но больше всего меня потряс огромный огнетушитель над директорским столом. Он до того приковывал внимание, что приглядеться к самому директору уже не получалось. Сидящий под антикварным огненным дирижаблем, наверное, на что-то такое и рассчитывает. Думать можно только о том, как бы эта штука не свалилась и не убила его прямо у тебя на глазах. Ни на что другое не остается сил. Неплохой способ спрятаться, оставаясь на виду.

Директор говорил о политике школы. О ее пути. «Мы предпочитаем лепить из готового материала». Что-то в этом роде. Я не очень внимательно слушал. Из-за огнетушителя. Он ужасно нервировал. И все остальное тоже. И кукла, и записки. «Может, у него амнезия? — думал я. — И он сам себе постоянно обо всем напоминает. Вот сейчас я уеду, а он напишет про меня и пришпишит эту информацию где-нибудь на видном месте».

Потом я все же послушал его немного. Он как раз дошел до выпускников. Тех, «кто многое достиг». Это были люди на застекленных фотографиях по обе стороны от

огнегушителя. Обыденные и обиженные личности, при наградах и каких-то грамотах, которые они уныло демонстрировали камере. Если честно, фотографии кладбищ было бы веселее рассматривать. Учитывая специфику школы, хотя бы одну такую следовало повесить рядом с остальными.

В этот раз все было иначе. Огнегушитель остался, и записки белели на всех доступных и недоступных поверхностях, но в обстановке кабинета что-то изменилось. Что-то, не связанное с мебелью и с исчезнувшей куклой. Акула сидел под огнегушителем и копался в бумагах. Сухой, пятнистый и мохнатый, как поросший лишайником пень. Брови, тоже пятнистые, серые и мохнатые, свисали на глаза грязными сосульками. Перед ним была папка. Между листами я разглядел свою фотографию и понял, что папка набита мной. Моими оценками, характеристиками, снимками разных лет – всей той частью человека, которую можно перевести на бумагу. Я частично лежал перед ним, между корешками картонной папки, частично сидел напротив. Если и была какая-то разница между плоским мной, который лежал, и объемным мной, который сидел, то она заключалась в красных кроссовках. Это была уже не обувь. Это был я сам. Моя смелость и мое безумие, немножко потускневшее за три дня, но все еще яркое и красивое, как огонь.

– Должно было случиться что-то очень серьезное, если ребята больше не хотят тебя терпеть, – Акула продемонстрировал мне какой-то листок. – Вот здесь у меня письмо. Под ним пятнадцать подписей. Как это понимать?

Я пожал плечами. Пусть понимает, как хочет. Не хватало еще объяснять ему про кроссовки. Это было бы просто смешно.

– Ваша группа – образцовая группа...

Пятнистые сосульки обвисли, прикрыв глаза.

– Я очень люблю эту группу. И не могу отказать ребятам в просьбе, к тому же о таком они просят впервые. Что ты на это скажешь?

Я хотел сказать, что тоже буду счастлив от них избавиться, но промолчал. Что значило мое мнение против мнения пятнадцати образцовых акульих любимцев? Вместо протестов и объяснений я незаметно рассматривал обстановку.

Фотографии «многого достигших» оказались даже противнее, чем помнилось. Я представил среди них свою постаревшую и обрюзгшую физиономию, а на заднем плане – картины, одна кошмарнее другой. «Его называли юным Гигером, когда ему было тринадцать». Стало совсем тошно.

– Ну? – Акула помахал у меня перед глазами растопыренной пятерней. – Ты заснул? Я спрашиваю, ты понимаешь, что я обязан принять определенные меры?

– Да, конечно. Мне очень жаль.

Это было единственное, что пришло в голову.

– Мне тоже очень жаль, – проворчал Акула, захлопывая папку. – Очень жаль, что ты такой туписа и умудрился испортить отношения со всей группой одновременно. А теперь можешь катиться обратно и собирать вещи.

У меня внутри что-то подпрыгнуло вверх и вниз, как игрушечный шарик на резинке:

– А куда меня отправят?

Мой испуг доставил ему массу удовольствия. Он немного понаслаждался им, перекладывая разные предметы с места на место, вдумчиво изучая ногти, закуривая...

– А как ты думаешь? В другую группу, конечно.

Я улыбнулся:

– Вы шутите?

Легче было подселить в любую группу Дома живую лошадь, чем кого-то из первой. У лошади было больше шансов прижиться. Несмотря на размеры и навоз. Мне следовало промолчать, но я не сдержался:

– Никто меня не примет. Я же Фазан.

Акула по-настоящему разозлился. Выплюнул сигарету и ударил кулаком по столу.

– Хватит с меня этих фокусов! Довольно! Что это еще за Фазан? Кто выдумал всю эту

чушь?

Бумаги расползлись под его кулаком, окурок упал мимо пепельницы.

Я так перепугался, что в ответ заорал еще громче:

– Не знаю я, почему нас так называют! Спросите тех, кто это придумал! Думаете, легко произносить эти дурацкие клички? Думаете, кто-то объяснил мне, что они означают?

– Не смей повышать голос в моем кабинете! – завопил он, свешиваясь ко мне через стол.

Я мельком глянул на огнетушитель и тут же отвел глаза.

Он держался.

Акула проследил мой взгляд и вдруг шепнул доверительно:

– Не свалится. Там вот такие штыри, – и он показал мне свой мерзкий палец.

Это было так неожиданно, что я оторопел. Сидел и таращился на него, как дурак. А Акула ухмылялся. И я вдруг понял, что он просто издевается. Я не так давно жил в Доме и все еще с трудом называл некоторых людей по кличкам. Надо быть совсем лишенным комплексов, чтобы в лицо обзвывать человека Хлюпом или Писуном, не чувствуя себя при этом полной сволочью. Теперь мне объяснили, что все это не приветствуется дирекцией. Но зачем? Просто чтобы покричать и посмотреть, как я среагирую? И я догадался, что изменилось в кабинете с моего первого визита. Сам Акула. Из неприметного дядьки, прятавшегося под огнетушителем, он превратился в Акулу. В то самое, чем его называли. Значит, клички давались не просто так.

Пока я думал обо всем этом, Акула снова закурил.

– Чтобы я больше не слышал в своем кабинете этих глупостей, – предупредил он, вылавливая из моей папки предыдущий окурок. – Этих попыток унизить лучшую группу. Лишить ее полагающегося статуса. Ты понял?

– То есть вы тоже считаете это слово ругательным? – уточнил я. – Но почему? Чем оно хуже просто Птиц? Или Крыс? Крысы. По-моему, это звучит намного противнее, чем Фазаны.

Акула заморгал.

– Вам, наверное, известно значение, которое все в него вкладывают, да?

– Так, – сказал он мрачно. – Хватит. Заткнись. Теперь я понял, почему первая тебя не выносит.

Я посмотрел на кроссовки. Акула был слишком высокого мнения о фазаных мотивах, но этого я говорить не стал. Спросил только, куда меня переводят.

– Пока не знаю, – не моргнув глазом соврал он. – Надо подумать.

Не зря его прозвали Акулой. Он ею и был. Пятнистой, косоротой рыбиной, с глазами, глядящими в разные стороны. Она состарилась и, наверное, была не очень удачлива на охоте, если ее веселила такая мелкая добыча, как я. Конечно, он знал, куда меня отправят. И даже собирался об этом сообщить. Но передумал. Решил помучить. Только слегка перестарался, потому что группа не имела значения, Фазанов ненавидели все. Я вдруг сообразил, что дела мои не так уж плохи. Появился реальный шанс выбраться из Дома. Первая меня вышвырнула, то же самое сделают другие. Может, сразу, а может, нет, но, если как следует постараться, процесс ускорится. В конце концов какую уйму времени я потратил, пытаясь стать настоящим Фазаном! Убедить любую другую группу в том, что я им не гожусь, будет намного легче. Тем более они и так в этом уверены. Возможно, и сам Акула так считает. Меня просто исключили сложным способом. Позже можно будет сказать, что я не прижился нигде, куда меня ни пристраивали. А то ведь могут плохо подумать о Фазанах...

Я успокоился. Внимательно следивший за мной Акула почуял момент просветления, и ему это не понравилось.

– Езжай, – сказал он с отвращением. – Собери вещи. Завтра в половине девятого я лично за тобой зайду.

Закрывая за собой дверь директорского кабинета, я уже знал, что завтра он опоздает.

На час или даже на два. Я теперь видел его насквозь со всеми его мелкими акульими радостями.

«Учащиеся называют его просто Домом, объединяя в этом емком слове все, что символизирует для них наша школа, – семью, уют, взаимопонимание и заботу». Так было сказано в буклете, который я, выбравшись из Дома, собирался повесить на стену в траурной рамке. Может, даже с позолотой. Он был уникален – этот буклет. Ни слова правды и ни слова лжи. Не знаю, кто его составлял, но этот человек был своего рода гением. Дом действительно называли Домом. Объединяя в этом треклятом слове уйму всего. Возможно, здесь было уютно настоящему Фазану. Очень может быть, что другие Фазаны заменяли ему семью. В Наружности Фазаны не встречаются, поэтому мне трудно судить, но, если бы они там водились, Дом был бы тем самым местом, куда они стремились бы изо всех сил. Другое дело, что в Наружности их нет и, мне кажется, что создает их именно Дом. Значит, какое-то время до того, как попасть сюда, все они были нормальными людьми. Очень неприятная мысль.

Но я отвлекся от буклета. «Более чем вековая история и бережно хранимые традиции», упоминающиеся на третьей странице, тоже имеют место. Достаточно увидеть Дом, чтобы понять: он начал разваливаться еще в прошлом веке. Об этом же свидетельствуют замурованные камины и сложная система дымоходов. В ветреную погоду в стенах завывает не хуже, чем в каком-нибудь средневековом замке. Сплошное погружение в историю. О традициях тоже все правильно. Царящий в Доме маразм явно придумывался несколькими поколениями не совсем здоровых людей. Следующим поколениям оставалось только все это «бережно хранить и преумножать».

«Обширная библиотека». Имеется. Бильярдная, бассейн, кинозал… все в наличии, но к каждому «есть» добавляется маленькое «вот только», после которого оказывается, что пользоваться этими благами невозможно, неприятно или опасно. В бильярдную ходят Бандерлоги. Значит, Фазанам туда дороги нет. В библиотеке занимаются девушки. Опять нельзя. В выходные там собираются картежники. Совсем плохо. Заехать можно, можно даже взять что-нибудь почитать, но вернуться туда вряд ли захочется. Бассейн? Ремонтируют уже пару лет. «И еще столько же еще будут ремонтировать, там крыша течет», – любезно просветили меня Братья Поросята. Они какое-то время были очень милыми. Отвечали на вопросы, все показывали и объясняли. Они были уверены, что живут в удивительном, необычном месте интересной и полноценной жизнью. Эта их уверенность меня просто убивала. Наверное, не стоило пытаться ее искоренить. Тогда мы бы дружили до сих пор. А так – любезности пришел конец, не успевшей толком начаться дружбе – тоже, и три их почти одинаковые подписи появились под прошением о моем переводе. Хотя рассказать они успели многое. Почти все, что я знал о Доме, я знал с их слов. Фазанья жизнь не располагала к тому, чтобы узнавать что-то новое. Она вообще мало к чему располагала. В первой все было расписано по минутам.

В столовой – мысли о еде, в классе – об уроках, на медосмотре – о здоровье. Коллективные страхи – не пристудиться бы, коллективные мечты – баранья котлетка на завтрак. Все, как у всех, ничего лишнего. Каждое движение доведено до автоматизма. День разделен на четыре части. Завтраком, обедом и ужином. Раз в неделю по субботам – кино. По понедельникам – собрания.

Не пора ли нам?..

Я вот обратил внимание...

Да, несомненно, класс плохо проветривается. Это на нас влияет.

Знаете, такие странные шорохи... Боюсь, что это все-таки крысы.

Заявить протест в связи с антисанитарными условиями в помещениях, способствующими распространению грызунов...

И плакаты. Бесконечные плакаты.

В классе: «На уроках думай об уроках. Прочь посторонние мысли!» В спальне:

«Соблюдай тишину, не мешай соседу», «Шум – рассадник нервных заболеваний».

Стройные ряды железных кроватей. Белые салфетки на подушках. «Следи за чистотой! Хочешь жить в чистоте – начни со своей наволочки!» Белые тумбочки, одна на две кровати. «Запомни, куда ставишь свой стакан. Обозначь его номером». На спинках кроватей – сложенные полотенца. Тоже с номерами. С шести до восьми включают радио. «Нечего делать – слушай музыку». Желающие поиграть в лото или в шахматы переходят в классную комнату. С тех пор как в классе поставили телевизор, число отдыхающих после уроков в спальне сильно сократилось. Тогда телевизор перенесли. Теперь он горит в спальне голубым окном до самой ночи, а ночь у Фазанов начинается с девяти часов, и к этому времени все должны лежать в постелях, облаченные в пижамы и готовые отойти ко сну. «Страдаешь бессонницей – обратись к врачу».

Утром – все сначала. Сидячая гимнастика. Застилка кроватей. «Помоги одеться соседу – и сосед поможет тебе». Умывание. Шесть раковин с рыжими ободками вокруг стоков. «Жди своей очереди и не задерживай других». Искривленные рожи в трещинах кафеля и лужи на полу. Столовая. Уроки. Обеденный перерыв. Уроки. Время для отдыха. И так до бесконечности.

Я въехал в спальню и обнаружил, что перестал быть призраком. Первая знает о переводе, это было видно по тому, как они на меня уставились. В их любопытстве было даже что-то неприличное. Как будто они собирались меня съесть. Я еле сдержался, чтобы прямо тут же, от двери, не повернуть обратно. Вместо этого проехал к своей кровати и уставился в телевизор. Женщина в клетчатом переднике рассказывала, как готовить медовые лепешки. «Берем три яйца, отделяем белки...» Очень полезно смотреть такие передачи перед ужином. Они возбуждают аппетит. К тому времени как прозвенел звонок, я уже знал, как делать медовые лепешки, с чем их подавать к столу и как при этом улыбаться. Обогатился знаниями я один. Остальные глазели на меня и участвовали в приготовлении совсем другого блюда.

Выезжали из спальни, как всегда, по трое, чтобы без толкотни разместиться перед раковинами и вымыть перед едой руки. Я не стал ни к кому пристраиваться. Это отметили и понимающе переглянулись.

В столовой меня начало трясти. Я ловил взгляды Фазанов. Куда они повернутся, насмотревшись на меня? Но они никак не могли насмотреться. Или действительно не знали, куда меня переводят.

Время растянулось в вечность.

Пюре и морковные котлеты. Вилка с гнутым зубцом. Разносчица в белом переднике, звякает посудой, толкая тележку. Белые стены, глубокие окна-арки. Я люблю столовую. Это самое старое место в Доме. Вернее, меньше других подвергшееся изменениям. Стены, окна и потрескавшиеся плитки пола, наверное, были такими же и семьдесят лет назад. И голландская печь во всю стену, облицованная кафелем, с чугунной дверцей на замке. Здесь красиво. Единственное место, где никто не лезет с наставлениями, где можно отключиться, рассматривая другие группы, воображая себя не Фазаном. Когда-то это было моей любимой игрой. Сразу после поступления. Потом наскутило. Сейчас я вдруг понял, что впервые могу сыграть в нее по-настоящему и что это уже вовсе не будет игрой.

Пюре и морковные котлеты. Чай и бутерброды с маслом. Наш стол весь черно-белый. Белые рубашки, черные брюки. Белые тарелки на черных подносах. Черные подносы на белой скатерти. Разнятся по цвету только лица и волосы.

Рядом – стол второй. Самый яркий и шумный. Крашеные ирокезы, очки и бусы. В ушах – гремящие затычки наушников. Крысы – помесь панков с клоунами. Скатерть им не стелят, ножи не выдают, вилки прикованы к столешнице цепочками, и если хоть один из них в течение дня не закатится в истерику, пытаясь оторвать свою вилку и воткнуть в соседа, Крысы сочтут, что день прожит зря. Все это чистой воды цирк. Во второй каждый носит при себе нож или бритву, так что их возня с вилками – просто дань традициям. Маленькое шоу специально для столовой. Во главе стола – Рыжий. Огромные зеленые очки, бритая голова,

роза на щеке и идиотская ухмылка. Крысиный вожак. На моей памяти уже второй. Вожаки у них долго не держатся.

У третьей свое шоу. Они повязывают огромные слюнявчики с детскими рисунками и таскают с собой горшочки с любимыми растениями. При их трауре и гнусных физиономиях смотрится это опять же цирком. Только каким-то зловещим. Может, только самих Птиц все это и веселит. Они выращивают у себя в комнатах цветы, вышивают гладью и крестиком, они – самые тихие и воспитанные после нас, но страшно даже думать, что можно очутиться среди них. Даже играя когда-то в свою любимую игру, я обычно пропускал третью.

На меня вдруг накатило видение. Осязаемое просто до жути.

Я сижу в темной, сырой птичьей спальне. Окна заросли плющом и почти не пропускают свет. Всюду растения в горшках и в кадках. В центре комнаты – полуобвалившийся камин.

Птицы расположились в ряд на низких скамеечках и орудуют иголками, а на каминной полке сидит похожий на мумию Стервятник в побитой молью горностаевой мантии и курит кальян, пуская в нашу сторону клубы дыма.

Время от времени кто-то из Птиц встает и подносит ему свою работу на рассмотрение. Мне плохо. Жарко и стыдно, потому что на моих пяльцах творится что-то невообразимое. Какие-то жуткие переплетения ниток, пучки и обрывки, я никак не могу выудить из этого безобразия иглу, знаю, что рано или поздно наступит мой черед нести показывать свою работу, и ужасно этого боюсь. Сделав неловкое движение, я задеваю локтем стоящий рядом горшок, он опрокидывается и разбивается вдребезги. Падает гигантская герань, размером с хороший куст сирени, осыпается земля, разлетаются глиняные черепки.

Среди разгрома на полу – белый и чистенький человеческий череп без нижней челюсти. Все вокруг замирают, смотрят на меня и на череп. Потом раздается мерзкое хрюканье.

– Да-да, Курильщик, ты не ошибся, – говорит Стервятник, соскакивая с каминной полки и ковыляя в моем направлении. – Это наш предыдущий новичок, мир его праху!

Он смеется, показывая невозможные острые, акульи зубы...

В этом месте я прервался, обнаружив, что на самом деле нахожусь в центре внимания, только не Птиц, а родных Фазанов. Они наблюдали за мной с большим интересом. Острозубый оскал Стервятника увял до кривенькой усмешки Джина, при виде которой внутри у меня все перевернулось. Я склонился к своей котете, и меня чуть не стошило от ненависти. То, что я представлял, было лишь страшной сказкой, настоящие падальщики сидели рядом. Высматривали капельки пота у меня на лице и облизывались. И я вдруг понял, что хоть сейчас готов стать Птицей. Надеть траур, научиться вышивать крестиком, выкопать сотню черепов, спрятанных в цветочных горшках. Что угодно, только не жить больше в первой. Сильнее всего меня расстраивало, что и эти переживания со стороны наверняка смотрятся как приступ трусости. «Все, – сказал я себе, – больше не играю ни в какие игры. Осталось дотерпеть до завтра. Каких-то тринадцать часов».

Однажды, когда я, вздрагивая от каждого шороха, курил в учительском туалете, туда забрел Сфинкс из четвертой. Перепугавшись, я выбросил окурок, и на сырому кафеле он сразу погас.

– Ого, курящий Фазан! – сказал Сфинкс, рассматривая окурок у себя под ногами. – Ведь не поверит никто, если рассказать.

Он посмотрел на меня и засмеялся.

Лысый безрукий верзила. Глаза зеленые, как трава. Сломанный нос и ехидный рот с приподнятыми уголками. И протезы в черных перчатках.

– У тебя есть еще курево?

Я кивнул, удивленный, что он заговорил со мной. С Фазанами не принято заговаривать. Мне даже показалось, что он сейчас попросит закурить, но до этого все же не дошло.

Он сказал только:

– Вот и славно.

И ушел.

Я ни минуты не верил, что он и вправду вздумает кому-то об этом рассказывать. И зря не верил.

Когда через пару дней после нашей встречи меня начали звать Курильщиком, я не связал это с ним. Не только Сфинкс знал, что я курю. Что к чему, объяснили Братья Поросыта. Оказалось, Сфинкс дал мне новую кличку. Стал моим крестным. И Дом чуть не перевернулся, потому что никогда еще не случалось, чтобы кто-то окрестил Фазана. Тем более такой, как Сфинкс, выше которого только Слепой, выше которого только крыша Дома и ласточки.

Из-за всего этого я сделался известной личностью среди нефазанов, а Фазаны дружно меня возненавидели. Новая кличка звучала для них хуже, чем «Джек-Потрошитель». Она нервировала их и портила им имидж, но поменять ее они уже не могли. Не имели права.

Я не стал представлять себя в четвертой. Там был мой ябеда-крестный, там был ненормальный Лорд, выбивший мне зуб за то, что я случайно сцепился с ним колесами. Там были Шакал Табаки, опрыскавший меня какой-то вонючей дрянью из баллончика с надписью «Опасно для жизни», и Бандерлог Лэри, руководивший всеми нападениями Логов на Фазанов. Незачем было представлять себя среди них. Настроение и без того никуда не годилось.

Я доел свою размазанную по тарелке котлету. Выпил чай. Съел бутерброд. Придумал два плана бегства из Дома, и, хотя оба были невыполнимы, это меня развлекло. Потом ужин закончился.

Я не вернулся в спальню. Покурил в учительском туалете и поехал обратно к столовой. Площадка перед ней обычно пустовала. Таких мест в Доме было немного. Я поставил коляску у окна и, пока не включили коридорный свет, сидел и смотрел на черневшие верхушки деревьев, с которых еще не облетели листья. Когда включили свет, за окном сразу стало темно. Я отъехал и стал раскатывать по площадке вдоль застекленных щитов с объявлениями. Кроме них смотреть было не на что. Я перечитал их, наверное, в сотый раз, и в сотый раз убедился, что они не меняются. Менялись только те, что были на стенах за щитами. Их писали маркерами, краской и цветными мелками, и менялись они так часто, что многим, кто хотел тут отметиться, приходилось сначала замазывать белилами предыдущие сообщения, ждать, пока они высохнут, и только потом писать новые. В некоторых вопросах люди Дома не ленились. Их объявлений я обычно не читал. Слишком много их было, и слишком они были дурацкие. Но сегодня от нечего делать я решил прочесть и их тоже. Поставил коляску боком и прислонился к щели между щитами.

ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

ЛИЦЕНЗИИ НА ОТСТРЕЛ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ

С ЧЕТВЕРГА. ФИТИЛЬ

Я попробовал представить, что или кого можно отстреливать на территории Дома. Мышей? Бродячих кошек? И из чего в них стрелять? Из рогаток? Вздохнув, стал читать дальше.

**СЧЕТ ПОЗАВЧЕРАШНИЙ
УТ. В ПРАЧЕЧНОЙ
Услуги опытного астролога
Коф. Ежедн. С 18 до 19 ч**

ОСОЗНАЛ СВОИ НЕДОСТАТКИ.
ПОДЕЛЮСЬ С ЖЕЛАЮЩИМИ БЕСЦЕННЫМ ОПЫТОМ.
ПРОСВЕТЛЕННЫЙ.

СЧЕТ ВЧЕРАШНИЙ. УТ.
ПОД ТР. БИЗОНОМ СЛЕВА ОТ ВХ.

ТРИСТА ГР. СЫРА «РОКФОР». НЕДОРОГО.
БЕЛОБРЮХ.

«Раздвинь рамки вселенной!» Коф. по чет.
Спрос. деж. бар. «Лунную дорогу» № 64.
Только лицам в нестандартной обуви.

Дальше этого объявления я не продвинулся. Перечитал его. Потом поднялся строчкой выше. Опять спустился. Поглядел на свои кроссовки. Совпадение?

Наверняка. Но жуть как не хотелось возвращаться в спальню. Я знал, что такое этот «Коф.» и где его искать. Знал, что мне там вряд ли обрадуются и что ни один Фазан в здравом уме туда не сунется. С другой стороны, терять было нечего. Почему бы не раздвинуть рамки Вселенной? Я протер кроссовки платком, чтобы придать им яркости, и отправился на поиски Кофейника.

Коридор второго этажа длинный, как кишака, и окон здесь нет. Окна только перед столовой и в вестибюле. Коридор начинается от лестницы, прерывается зальчиком, не въехав в который, не попадешь в столовую, и продолжается дальше до второй лестницы. В одном конце – столовая. Напротив нее – учительская и кабинет директора. Дальше – наши две комнаты, один пустующий класс, кабинет биологии, заброшенный туалет, который называют учительским – я использовал его как курилку, – и комната отдыха, в которой еще до моего поступления начался бесконечный ремонт. Все это обжитая, знакомая территория. Заканчивается она вестибюлем – унылым залом с окнами на двор, диваном в центре и сломанным телевизором в левом углу. Дальше я никогда не заезжал. Где-то здесь проходила невидимая граница, которую Фазаны старались не пересекать.

Я храбро пересек ее, въехал в коридор за вестибюлем и оказался совсем в другом мире.

Здесь как будто взорвалась цистерна с красками. И не одна. Надписи и рисунки встречались и на нашей стороне, но здесь они не встречались, здесь они и были коридором. Огромные, в человеческий рост и выше, режущие глаз, они змеились и струились, налезали друг на друга, разбрзгивались и подпрыгивали, вытягивались до потолка и стекали обратно. По обе стороны от меня стены будто вспухли от росписей, а сам коридор стал казаться уже. Я ехал по нему разинув рот, как сквозь бред сумасшедшего.

Двери второй оскалились синими черепами, малиновыми зигзагами молний и предупреждающими надписями. Я сразу понял, чья это территория, и благоразумно отъехал к противоположной стене. Из этих дверей могло вылететь что угодно, начиная с бритвенных лезвий и бутылок и заканчивая самими Крысами. Их участок был густо усеян осколками и обломками того, что они уже успели выкинуть, и мусор этот хрустел под колесами, как

обглоданные кости.

Нужная дверь была приоткрыта, а то я бы, наверное, пропустил ее. «Только кофе и чай» – предупреждала скромная белая табличка. Вся остальная часть двери была расписана под бамбук, совершенно теряясь на фоне стен. Заглянув в нее, я убедился, что это действительно Кофейник. Темное помещение, заставленное круглыми столиками. Под потолком – китайские фонарики и разлапистые оригами, на стенах – маски устрашающего вида и черно-белые фотографии в рамках. Прямо перед дверью – барная стойка, собранная из кафедр, выкрашенных в синий цвет.

Я приоткрыл дверь пошире. Над ней звякнул колокольчик, и сидевшие за столиками повернулись в мою сторону. Ближе всех оказались двое Псов в ошейниках. В глубине комнаты я разглядел разноцветные крысиные ирокезы, но не стал всматриваться, а сразу поехал к стойке.

– Шестьдесят четвертый, пожалуйста! – выпалил я, следя инструкции, и только после этого поднял глаза.

Из-за стойки на меня таращился толстенький Кролик в ошейнике, с торчащими передними зубами.

– Чего-чего? – ошеломленно переспросил он.

– Шестьдесят четвертый номер, – повторил я, чувствуя себя полным идиотом. – «Лунную дорогу».

За столами засмеялись:

– Даёт Фазан! – крикнул кто-то. – Видали?

– Фазан-самоубийца!

– Нет, это новая порода. Улетный Фазан!

– Это Фазаний император.

– Да никакой он не Фазан. Это оборотень!

– Причем больной. А то не стал бы перекидываться в Фазана.

Пока посетители Кофейника валяли дурака, Кролик с очень серьезным видом обошел стойку, встал рядом, и уставился на мои ноги. Целую вечность изучал их и наконец сказал:

– Не годится.

– Почему? – шепотом спросил я. – В объявлении сказано – в нестандартной обуви.

– Не знаю никаких объявлений, – отрезал Кролик, возвращаясь в свой загончик. – Давай, выметайся отсюда.

Я посмотрел на кроссовки.

Они уже не казались огненными. В Кофейнике было мало света и совсем не было Фазанов. Я понял, что поступил глупо. Не стоило приезжать и выставлять себя на посмешище. Для всех, кроме Фазанов, мои кроссовки самые обыкновенные. Я как-то умудрился об этом забыть.

– Они нестандартные, – сказал я. Больше для себя самого, чем пытаясь кого-то в этом убедить. И поехал к двери.

– Эй, Фазан! – окликнули меня из-за самого дальнего столика.

Я развернулся.

Там, над расписными кофейными чашками, сидели колясники четвертой. Лорд – медоволосый и сероглазый, красивый, как эльфийский король, и Шакал Табаки – мелкий, кудлатый и ушастый, похожий на лемура в парике.

– Знаешь, Кролик, – сказал Лорд, глядя на меня холодными глазами, – я впервые вижу Фазана, чья обувь не соответствует определенным стандартам. Удивляюсь, что ты этого не заметил.

– Вот-вот, – радостно подхватил Табаки. – Я тоже обратил внимание. Еще подумал – не жилец он, бедняжка. Заключают. Ты дай ему шестьдесят четвертый, Кролик. Может ему одна эта радость в жизни и осталась. Рули сюда, детка! Сейчас тебя обслужат.

Я медлил, не зная, стоит ли принимать это приглашение, но Псы подтянули ноги и стулья, освобождая мне проезд, как будто я был по меньшей мере слоном, и пришлося ехать.

Обозвавший меня деткой Шакал Табаки сам выглядел от силы на четырнадцать. Правда, только издали. Вблизи ему можно было дать и тридцать. Одет он был в три разноцветные жилетки, из-под которых свисали майки разной длины – зеленая, розовая и голубая, – и при этом все равно видно было, какой он тощий. На всех жилетках имелись карманы и все эти карманы оттопыривались. А сверху он был увешан бусами, значками, амулетами, нашейными сумочками, булавками и колокольчиками, и все было то ли не очень чистое, то ли ужасно потрепанное. Рядом с ним Лорд в своей белой рубашке и синих джинсах выглядел почти голым. И чересчур чистым.

– Зачем тебе «Лунная дорога»? – спросил он.

– Не знаю, – честно признался я. – Захотелось попробовать.

– Ты хоть знаешь, что это такое?

Я покачал головой:

– Какой-нибудь коктейль?

Лорд смотрел на меня с жалостью. Он был до того белокожий, что как будто светился. Брови и ресницы темнее волос, глаза то ли серые, то ли синие. Даже кислая гримаса его не портила. Даже прыщи на подбородке.

В жизни не встречал людей, на которых было бы больно смотреть из-за красоты. Кроме Лорда. Где-то с месяц назад он выбил мне зуб за то, что я сцепился с ним колесами в дверях столовой. До того я видел его только издали. Я и понять ничего не успел. Так загляделся на него, что не рассыпал, что он сказал. Потом прекрасный эльф высадил мне зуб, и стало не до восторгов. Следующую неделю я ездил впритирку к стенам, шарахался от каждого встречного, не вылезал из кабинета стоматолога и не спал по ночам.

Лорд был последним, с кем я представил бы себя за одним столиком в Кофейнике, и последним, с кем стал бы вступать в разговоры, если бы от меня что-то зависело. Но так вышло. Он спрашивал, я отвечал, а его проклятая внешность опять незаметно меня околдовывала. Трудно было, находясь рядом, все время помнить, что он такое на самом деле. К тому же у меня возникло тревожное ощущение, что «Лунная дорога» вовсе не безобидный напиток, а что-то, чего на самом деле пить не стоит.

Пока я переживал, ее принесли. Кролик поставил на стол крошечную чашечку и придвинул ее ко мне.

– Под вашу ответственность, – предупредил он колясников.

Заглянув в чашечку, я увидел только маслянистый отблеск на самом донышке. Там не хватило бы наполнить и наперсток.

– Вот это да! – удивился я. – Как мало.

Кролик шумно вздохнул. Он не уходил. Стоял и чего-то ждал.

– Деньги, – сказал он наконец. – Платить будешь?

Я растерялся. Денег у меня при себе не было.

– А сколько это стоит? – спросил я.

Кролик повернулся к Табаки.

– Слушай, это вы все затеяли. Я бы ничего ему не дал. Он же совсем без понятия, этот Фазан.

– Заткнись, – сказал Лорд, – протягивая ему сотенную купюру. – И вали отсюда.

Кролик взял деньги и отошел, бросив на Лорда хмурый взгляд.

– Пей, – предложил мне Лорд. – Если действительно хочешь.

Я опять заглянул в чашечку.

– Вообще-то уже не хочу.

– И правильно, – обрадовался Табаки. – Зачем тебе? Вовсе не обязательно, и вообще с чего это ты вдруг? Выпей лучше кофе. И булочку съешь.

– Нет. Спасибо.

Мне было стыдно. Хотелось побыстрее уехать.

– Извините, – сказал я. – Не знал, что это так дорого.

– Брось, – пискнул Табаки. – Не знал, и хорошо. Меньше знаешь – дольше проживешь.

— Три кофе! — заорал он вдруг, крутанув коляску. И завертелся волчком. Я не понял, как он это сделал, от чего оттолкнулся, но вращался он как бешеный. Во все стороны полетели крошки еды, бисер и всякий мелкий мусор. Как от мусорной корзины на карусели. Мне на руках спикировало маленько перышко.

— Спасибо, не надо! — крикнул я.

Карусель остановилась.

— Почему не надо? Ты куда-то спешишь?

— У меня нет денег.

Табаки моргнул совиными глазами. От верчения волосы его встали торчком, и вид сделался совсем безумным.

— А зачем деньги? Лорд угощает. Это же мы тебя пригласили. Кстати, цена чисто символическая.

Кролик поставил на стол поднос с тремя чашками кофе, молочником и расчлененными булками. Моих протестов никто не слушал.

— Не надо меня угощать, — попробовал я еще раз. — Я не хочу.

— Ну ясно, — Табаки разочарованно откинулся на спинку коляски. — Какой человек станет пить с тобой кофе, Лорд, после того, как ты дал ему по морде? Никакой.

Я почувствовал, как заполыхали щеки. Лорд барабанил пальцами по столу и не смотрел на нас.

— Ты бы извинился, — предложил ему Табаки. — Он же сейчас уедет. И получится как всегда. То есть не получится.

Лорд покраснел. Быстро и очень заметно, как будто ему надавали пощечин.

— Не указывай мне, что делать!

Хотелось уже не уехать, а провалиться сквозь землю. Так было бы гораздо быстрее. Я развернул коляску.

— Извини, — буркнул Лорд, не поднимая глаз.

Я застярал.

Коляска полуразвернута, голова вжата в плечи.

Я уже ничего не понимал. Даже в самых моих мстительных мечтах Лорд передо мной не извинялся. Как-то не удавалось это представить. Я выбивал ему зубы и сворачивал челюсть, он делался не таким уж красивым, обзывался и плевался кровью, но до извинений у нас не доходило.

— Я был тогда не в себе, — сказал Лорд. — Повел себя, как последняя скотина. Настучи ты Паукам, у меня были бы неприятности. Ты даже представить не можешь, какие. Я две ночи не спал, ждал, когда за мной придут. Пока не понял, что ты ничего не сказал. Хотел извиниться и не смог. Не получилось. И сегодня не получилось бы, если б не Шакал.

Лорд замолчал и наконец посмотрел на меня. Глаза у него были злые.

Я тоже молчал. А что было говорить? «Я тебя прощаю» прозвучало бы по-идиотски. «Не прошу ни за что» — и того хуже.

— Ничего не понимаю, — сказал я.

— Чего ты не понимаешь? — живо откликнулся Шакал.

— Ничего.

— Теперь ты выпьешь с нами кофе? — спросил он вкрадчиво.

Настырный оказался тип.

Я подъехал к столу. Взял с подноса чашку.

— Все не так, — сказал я. — Не так, как должно быть. Вы ведете себя не по правилам. Никто не станет извиняться перед Фазаном. Никогда. Даже если полголовы ему снесет.

— Где оно записано — это правило? — возмутился Табаки. — Что-то я о нем не слыхал.

Я пожал плечами:

— Не знаю. Там же, где остальные правила, наверное. Записано или не записано, но оно есть.

— Фу ты! — Табаки смотрел на меня почти с восторгом. — Какой наглый! Учит меня

правилам Дома. Ни хрена себе!

Лорд вертел чашечку с «Лунной дорогой», пристально в нее всматриваясь.

– Из чего ее смешивают? – спросил он. – Что там?

Табаки фыркнул:

– Не знаю. Одни говорят – вытяжка из мухоморов, другие – слезы Стервятника. Может, птичий пapa и плачет зеленой горечью, но разве кто станет проверять? В любом случае, она ядовита. Романтически настроенные личности утверждают, что это ночная роса, собранная в полнолуние. Хотя росой вряд ли перетравилось бы столько народу. Если, конечно, не собирать ее носками Логов.

– Дай какой-нибудь пузырек, – попросил его Лорд, протягивая руку.

Табаки поморщился.

– Решил отравиться? Тогда лучше крысиного яду достань. Он надежнее. И более предсказуем.

Лорд ждал, не убирая протянутой руки.

– Ладно, ладно, – проворчал Табаки, роясь в карманах. – Травись чем хочешь, мне-то что. Я за свободу выбора.

Он передал Лорду крохотную мензурку, и мы понаблюдали, как тот осторожно переливает в нее содержимое чашечки.

– А ты? – повернулся ко мне Шакал. – Чего молчишь? Расскажи что-нибудь интересное. Говорят, на последних Фазаных собраниях обсуждают только тебя.

Я поперхнулся и пролил немного кофе на рукав.

– Откуда ты знаешь? Я думал, вы нами не интересуетесь.

– А ты о нас вообще странного мнения, – хихикнул Табаки. – Ходим, как надутые индюки, ничего вокруг не замечаем. Иногда сносим кому-нибудь полголовы, не замечаем и этого, бредем себе дальше. На плечах у нас – «брюмя белого человека», а под мышкой – толстенный свод Домовых законов и правил, где записано: «Лупи лежачего, топчи упавшего, плюй в колодец, из которого пьешь», и прочие полезные советы.

Это было довольно близко к тому, что я думал о них на самом деле, и я не сдержал улыбки.

– Ага, – вздохнул Табаки, – так и есть. Я не преувеличил. Но будь у тебя хоть капля такта, ты не демонстрировал бы это так откровенно.

– Что еще за собрания? – спросил Лорд, перебрасывая мне через стол пачку «Кэмела». – Я, например, не знаю, что это такое.

Табаки осталенел от возмущения, а я засмеялся.

– Вот такие, как ты, и портят нам весь имидж! – завопил Шакал, выхватывая у меня из-под носа сигареты. – Из-за вас нас считают самодовольными индюками! Только полный неуч не знает о Фазаных собраниях. Не суди по Лорду, – повернулся он ко мне. – Без году неделя в Доме и почти ничем не интересуется.

– Два года и девяносто дней, – поправил Лорд. – А он все еще считает меня новичком.

Табаки потянулся через стол и похлопал его по руке.

– Извини, старина. Знаю, тебя это задевает. Но ты сравни свои два года с моими двенадцатью и поймешь, что я вполне могу звать тебя новичком.

Лорд скривился, как будто у него заболели все зубы одновременно. Табаки это понравилось. Он даже порозовел от удовольствия. Закурил и кивнул мне со снисходительной улыбкой старожила.

– Итак... мы ничего не узнали, кроме того, как много всего не знает Лорд. А ты все молчишь.

Я пожал плечами. Кофе был вкусный. Табаки был смешной, Лорд держался дружески. Я расслабился, уже не ожидая от них гадостей, и решил, что ничего страшного не случится, если сказать правду.

– Меня исключили, – признался я. – Общим голосованием. Послали прошение Акуле, и он дал согласие. Теперь переведут в другую группу.

Колясники четвертой дружно отставили чашки и переглянулись.

– Куда? – замерев от любопытства, спросил Шакал.

– Не знаю. Акула не сказал. Говорит, это еще не решено.

– Скотина, – процедил Лорд. – Скотом живет и умрет по-скотски!

– Эй-эй, погоди! – Табаки наморщил лоб, быстро прикинул что-то в уме и уставился на нас округлившимися глазами. – Либо к нам, либо в третью, – заявил он. – По-другому не получается. Они с Лордом опять переглянулись.

– Я тоже так думаю, – сказал я.

Некоторое время мы молчали. Кролик, должно быть, обожал саксофоны. Из магнитофона за стойкой без перерыва доносились их жалобные вопли. На сквозняке покачивались китайские фонарики.

– Вот зачем тебе понадобилась «Лунная дорога», – пробормотал Табаки. – Теперь понятно.

– Кури, – сказал Лорд сочувственно. – Почему ты не куришь? Табаки, отдай ему сигареты.

Шакал рассеянно протянул мне пачку. Пальцы у него были тонкие, как паучьи лапки, и ужасно грязные.

– Да, – сказал он мечтательно. – Либо так, либо эдак. Либо ты узнаешь, какого цвета слезы у Стервятника, либо все мы увидим, как рыдает Лэри.

– По-твоему, Стервятник заплачет? – удивился Лорд.

– Конечно. Еще как! В голос! Как Морж, поedaющий устриц.

– То есть он меня съест, – уточнил я.

– С сожалением, – заверил Табаки. – У него в принципе нежная и ранимая душа.

– Спасибо, – сказал я. – Это очень утешает.

Шакал не был глухим. Он покраснел, виновато шмыгнув носом.

– Ну, вообще-то, я так… слегка преувеличил. Люблю пугать людей. Он действительно неплохой парень. Совсем чуть-чуть сдвинутый.

– Еще раз спасибо.

– А знаешь, можно пригласить его за наш столик! – осенило вдруг Табаки. – А что? Неплохая мысль. Познакомитесь поближе, пообщаетесь… ему понравится.

Я беспокойно огляделся. Стервятника в Кофейнике не было. Я это точно знал, но в какой-то момент испугался, что ошибся, что он появился, пока я не смотрел по сторонам, и сейчас Шакал пригласит его со мной знакомиться.

– Ну что ты так дергаешься? – укорил меня Табаки. – Я же сказал, он славный. К нему быстро привыкаешь. И вообще его здесь нет. Я имел в виду, позвать через Птиц, – он кивнул на соседний столик, где двое кислолицых в трауре играли в карты.

– Хватит, Табаки, – вмешался Лорд. – Оставь в покое Стервятника. Наши шансы на новичка намного выше, чем у третьей, так что если уж тебе так приспичило, зови Слепого.

Табаки почесался, повертелся, схватил с подноса булку, и, роняя куски, мигом проглотил ее.

– Черт, – сказал он с набитым ртом. – Я так волнуюсь… – он подобрал все, что упало, и затолкал следом. – Ужасно волнуюсь! Неизвестно, как среагирует на все это Слепой…

– Известно, – оборвал его Лорд. – Никак. Когда это он на что-то реагировал?

– Верно, – нехотя согласился Табаки. – Практически никогда. Видишь ли, – подмигнул он мне, – наш вожак – долгих ему лет вожачества – слеп, как крот, и с реакциями у него проблемы. Обычно он предоставляет все Сфинксу. «Среагируй, будь добр, вместо меня», – говорит он. Так что бедняга Сфинкс уже много лет реагирует на все за двоих. Может, оттого и облысел. Это ведь очень утомительно.

– Так он не всегда был лысым? – удивился Лорд.

Табаки бросил на него уничтожающий взгляд:

– Что значит «всегда»? С рождения? Может, он и родился лысым, но уж поверь, к моменту нашего знакомства Сфинкс был вполне волосат!

Лорд сказал, что не может себе этого представить. Табаки ответил, что у Лорда всегда были проблемы с воображением.

Я наконец закурил. От чудачеств Табаки тянуло расхохотаться, но я боялся, что смех прозвучит истерично, и сдерживался.

— Да! — вспомнил вдруг Табаки. — Ты же крестник Сфинкса, я и забыл! Видишь, как все славно складывается! Раз ты его крестник, он среагирует на тебя, как родная мать. Что еще нужно для счастья?

Я сомневался, что для счастья мне требуется лысый ябеда Сфинкс в роли матери, и так об этом и сказал.

— Зря. Очень зря, — обиделся Табаки. — Из Сфинкса получается неплохая мать. Уж поверь.

— Да. Особенно для Черного, — изобразил улыбку Лорд. — Вон он, кстати, идет. Можешь позвать его. Расскажет Курильщику, какая нежная из Сфинкса мать.

— Не передергивай, — возмутился Шакал. — Я не сказал — для всех и каждого. Ясное дело, для Черного Сфинкс, скорее, мачеха.

— Злая, — уточнил Лорд сладким голосом. — Из немецких сказок, после которых дети громко кричат по ночам.

Табаки сделал вид, что не рассыпал.

— Сюда, сюда, старина! — крикнул он, замахав руками. — Вот они мы! Смотри сюда. Ау!.. Совсем у него плохо стало со зрением, — поделился он с нами озабоченно и схватил последнюю булку. — Из-за штанги. Поднятие тяжестей не оздоровляет на самом-то деле. А главное, — он заглотнул булку в два приема, — ему нельзя переедать. Так что лучше, если вокруг будет поменьше мучного. Верно, Черный?

Черный — мрачный детина с белесым ежиком волос — подошел со стулом, который прихватил по пути, поставил его рядом с Лордом, сел и уставился на меня:

— Верно что?

— Что тебе нельзя переедать. Ты и так тяжелый.

Черный промолчал. Он и в самом деле был тяжелым, но уж точно не от переедания. Наверное, таким и родился. Потом накачал себе мускулатуру всякими тренажерами и сделался еще внушительнее. Майка-безрукавка оставляла на вид у его бицепсы, которые я уважительно рассматривал, пока он рассматривал меня. Табаки сообщил, что меня переводят и, скорее всего, к ним, в четвертую. «Если только не в третью, но в третью вряд ли, потому как, ясное дело, когда есть из чего выбирать, выбирают, где попросторнее».

— Ну? — только и сказал на это Черный. Руки его были как два окорока, голубые глаза, казалось, вообще не моргали.

Табаки расстроился:

— Что ну? Я тебе первому сообщаю сенсационную новость!

— И что я должен сделать?

— Удивиться! Ты должен хоть немного удивиться!

— Я удивлен.

Черный встал, задев головой китайский фонарик, и пересел за свободный столик через один от нас. Там он достал из кармана жилета книжку в мягкой обложке и, близоруко щурясь, уткнулся в нее.

— Пожалуйста! — возмутился Табаки. — Кто-то тут рассуждал о реакциях Слепого! Да по сравнению с Черным Слепой — просто живчик!

Насчет живчика он преувеличил. Я лежал как-то в лазарете в одной палате со Слепым. За три дня он не произнес ни слова. Даже почти не шевелился, так что я постепенно стал воспринимать его как деталь интерьера. Он был щуплый и невысокий, в его джинсы влез бы тринадцатилетний, два его запястья были как одно мое. Рядом с ним я ощущал себя крепким парнем. Тогда я еще не знал, кто это, и решил, что он просто совсем забытый. Сейчас, глядя на Черного, я подумал, что если кто в четвертой и выглядит как вожак, то, конечно, он, а вовсе не Слепой.

— Странно все устроено, — сказал я. — Непонятно.

— Ага, и этот поражается, — кивнул Табаки. — Конечно, странно. Такая башня, как Черный, ходит под Слепым. Ты ведь это имел в виду, признайся! Он такой внушительный. Такой царственный, да? Мы вот тоже удивляемся. Живем рядом с ним, и каждый день удивляемся, как это он — и не вожак. А больше всех удивляется сам Черный. Встает рано утром, смотрит вокруг и вопрошают: «Почто?» И так день за днем.

— Угомонись, Табаки, — поморщился Лорд. — Хватит.

— Зол я, — объяснил Табаки, допивая кофе. — Не люблю флегматиков.

Я тоже допил свой кофе и докурил вторую сигарету. Наверное, пора было уезжать. Но не хотелось. Приятно сидеть в Кофейнике в открытую, не прячась, курить... пить кофе, который в первой считали чем-то вроде слабой разновидности мышьяка. Я только боялся, что Табаки еще кому-нибудь начнет рассказывать о моем переводе. Лучше было рас прощаться, пока этого не случилось. Табаки достал блокнот и черкал в нем что-то ручкой, выуженной из-за уха.

— Так-так, — бормотал он. — Несомненно... и это тоже не забудем. Еще бы. А вот это вообще недопустимо...

Лорд крутил на краю стола зажигалку.

— Пожалуй, мне пора, — сказал я.

— Минуточку, — Табаки писал еще некоторое время, потом вырвал листок из блокнота и протянул его мне. — Тут все отмечено. Основное. Просмотри и запомни.

Я уставился на невразумительные караули:

— Что это?

— Инструкция, — Табаки вздохнул. — Ну что здесь непонятного? Правила поведения для переселенца. Сверху — на случай переселения к нам, ниже — в третью.

Я всмотрелся внимательнее.

— Какие-то цветы... часы. А при чем здесь постельное белье? У вас его что, не выдают?

— Выдают. Но лучше не оставлять у себя за спиной ничего такого, что носит твой отпечаток.

— Какой отпечаток? Я что, мажусь перед сном ваксой?

Табаки опять посмотрел взглядом старожила. Утомленного многими знаниями.

— Слушай, это элементарно. Берешь с собой все свое и уносишь. Что не можешь унести — уничтожаешь. Но чтобы ничего твоего там не осталось. Вдруг ты завтра померешь? Хочешь, чтобы твою чашку обвязали траурной ленточкой и выставили на всеобщее обозрение с гнусной надписью: «Мы помним тебя, о, заблудший брат наш»?

Меня передернуло:

— Ладно. Понял. А часы?

«Переселяемому в четвертую группу настоятельно рекомендуется избавиться от любого вида измерителей времени: будильников, хронометров, секундомеров, наручных часов и т. д. Попытка сокрытия подобного рода предметов будет немедленно выявлена экспертом, и, в целях пресечения дальнейших провокаций подобного рода, нарушитель понесет наказание, определенное и утвержденное экспертом.

Переселяемому на территорию 3-й группы, иначе именуемой «Гнездовищем», рекомендуется иметь при себе следующие предметы: набор ключей (неважно от чего), два цветочных горшка в хорошем состоянии, не менее четырех пар черных носков, охранный амулет-противоаллерген, берущий для ушей, книгу Дж. Уиндема «День Триффидов», свой старый гербарий.

Переселенцу вне зависимости от места переселения рекомендуется не оставлять на покидаемом участке одежду, постельное белье, предметы домашнего обихода, предметы, созданные лично переселяемым, а также органику — волосы, ногти, слону, сперму, использованные бинты, пластиры и носовые платки».

Ночью я не спал. Слушал дыхание спавших и смотрел в черноту потолка, пока он не

побелел и на нем не проступили знакомые трещинки. Тогда я подумал, что вижу их в последний раз, и в последний раз пересчитал. Циферблат больших настенных часов тоже сделался виден, но на него я специально не смотрел. Это была самая невыносимая ночь из всех, что я провел в Доме. К подъемному звонку я был уже наполовину одет. Сборы заняли десять минут. Я упаковал в сумку смену белья, пижаму и учебники, постаравшись оставить все, на чем красовались номера. Акула, как я и думал, не пришел в назначенное время. Группа уехала завтракать без меня. Они вернулись и уехали на уроки, а его все не было. Ни в десять, ни в одиннадцать, ни в двенадцать.

К половине первого я изгрыз все ногти, изъездил спальню вдоль и поперек раз две сти и понял, что вот-вот сойду с ума. Достал «инструкцию переселенца», перечитал ее и содрал с кровати постельное белье. Упаковав его, собрал все салфетки, находившиеся поблизости от моей кровати и тумбочки. Остановил часы и спрятал их на дно сумки. Вытащил из тайника сигареты, закурил и уже начал прикидывать, как бы соорудить из подручных средств гербарий, когда наконец объявился Акула. С угрем Ящиком в качестве грузчика и с Гомером в качестве провожающего. Но Гомер проводить меня с достоинством не сумел. Его слишком потрясла зажженная сигарета. Увидев ее, он сбежал почти сразу. Даже не попрощался. Акула сигарету проигнорировал, зато спросил, какого черта я ободрал постель.

— Белье совсем свежее, — сказал я. — Только вчера сменили. Зачем пачкать лишний комплект?

Он посмотрел на меня, как на слабоумного, и пробурчал что-то насчет Фазаных замашек, хотя сам вчера чуть не прибил меня за это слово. Я предложил оставить белье, если его это так напрягает, он велел мне заткнуться.

Ящик развернул мою коляску, потолкался между кроватями и вывез в коридор, где передал меня Акуле, а сам вернулся за сумкой. Акула катил коляску, Ящик тащил сумку. Гомера нигде не было видно. Знакомую территорию мы проскочили быстро, а дальше я, как ни вертел головой, не узнал ничего, как будто за ночь изменились все рисунки и ориентиры. Я пропустил вторую, и Кофейник, но понял это, только когда мы остановились перед дверью с огромной меловой четверкой посередине.

ДОМ Интермедиа

Дом стоит на окраине города. В месте, называемом Расческами. Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов — предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли, — обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездища крыс и бродячих собак гораздо более интересны молодым «расчесочникам», чем их собственные дворы — интервалы между зубьями.

На нейтральной территории между двумя мирами — зубцов и пустырей — стоит Дом. Его называют Серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям — захоронениям его ровесников. Он одинок — другие дома сторонятся его — и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на трассу, у него тоже есть двор — длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Дом серый спереди и расписан яркими красками с внутренней, дворовой стороны. Здесь его стены украшают рисунки-бабочки, размером с небольшие самолеты, слоны со стрекозиными крыльями, глазастые цветы, мандалы и солнечные диски. Все это со двора. Фасад гол и мрачен, каким ему и полагается быть.

Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители Расчесок предпочли бы, чтобы его не было рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще.

Они появились перед Домом жарким августовским днем, в час, не дающий теней. Женщина и мальчик. Улица была пустынна, солнце выжгло ее. Чахлые деревья вдоль мостовой от него не спасали, не спасали и стены домов, плавившихся в ярко-синем небе

раскаленными зубьями. Асфальт проминался под ногами. Каблуки женщины выдавливали в нем маленькие дырочки, которые тянулись за ней аккуратной цепочкой, как следы очень странного зверя.

Они шли медленно. Мальчик – от усталости, женщина – скованная тяжестью чемодана. Оба в белом, светлоголовые, оба чуть выше, чем им полагалось: мальчику по возрасту, женщине – чтобы казаться женственной. Женщина была красива и привыкла привлекать внимание, но сейчас на нее некому было глязеть, чему она была только рада. Плавность ее походки изуродовал чемодан, белый костюм измялся от долгой поездки в автобусе, косметику размыло жарой. Несмотря ни на что, она шла гордо вскинув голову, стараясь не сутулиться и не выказывать признаков усталости.

Мальчик был похож на нее, как только маленький образец человеческой породы может походить на большой. Светлоголовый в рыжину, худенький и голенастый, он смотрел на мир точно такими же зелеными глазами, какие были у его матери, и держался так же прямо, как и она. На его плечи была накинута белая жакетка. В изнуряюще жаркий день это казалось странным. Он шел нехотя, цепляя кедой о кеду, прикрыв глаза так, что видел только серый, пупырчатый асфальт и следы, оставленные на нем каблуками матери. Он думал, что даже если бы мать скрылась бы из виду, ее можно было бы найти по этим смешным, дырчатым следам.

Женщина остановилась.

Над ними возвышалось здание Дома, окруженное с двух сторон пустотой, как уродливая серая брешь в белоснежных рядах Расчесок.

– Это, наверное, здесь.

Женщина поставила чемодан на землю и, приподняв солнечные очки, взгляделась в табличку над дверью.

– Видишь, как мы быстро дошли? Разве стоило брать такси?

Мальчик равнодушно кивнул. Он мог бы возразить, что идти пришлось довольно долго, но вместо этого сказал:

– Смотри, мам, он прохладный. Солнце его не трогает. Странно, правда?

– Глупости, милый, – отмахнулась мать. – Солнце трогает все, что может достать. Просто он темнее соседних домов и от этого кажется более холодным. Сейчас я войду туда, а ты подождешь меня здесь. Хорошо?

Она подняла чемодан на четвертую ступеньку крыльца и прислонила его к перилам. Позвонив, замерла в ожидании, а мальчик сел в самом низу лестницы и уставился в другую сторону. Когда замок щелкнул, он обернулся и успел увидеть белый подол, тут же исчезнувший за дверью. Потом дверь захлопнулась, и он остался один.

Встав со ступеньки, мальчик подошел к стене и прислонился к ней щекой.

– Холодный, – сказал он. – Солнце не может достать его.

Он отбежал от Дома и посмотрел на него издали. Виновато покосился на дверь, передернул плечами и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла, еще раз оглянулся, помедлил и повернулся.

Еще одна стена. Мальчик добежал до ее конца и остановился.

За следующим поворотом оказался двор, отгороженный сеткой. Пустой и унылый, такой же раскаленный, как все вокруг. Зато Дом с этой стороны был совсем другим. Разноцветный и веселый, он как будто решил показать мальчику свое другое лицо. Улыбающееся. Лицо не для всех.

Мальчик подошел вплотную к сетке, чтобы рассмотреть это другое лицо Дома получше и, может быть, даже угадать, кто нарисован на его стенах, и увидел покосившееся сооружение из картонных коробок. Самодельный домик, прикрытый ветками. На крыше его торчал обвисший от безветрия флагшток, картонные стены были увешаны самодельным оружием и колокольчиками. Шалаши был обитаем. Изнутри доносились голоса и шорохи. Перед входом чернела кучка золы, обложенная кирпичами.

Им разрешают разводить костры...

Он прижался к сетке, не замечая, что на майке и жакетке отпечатался ржавый сетчатый узор. Он не знал, кому – «им», но понимал, что много лет этим «им» быть не могло. Он смотрел, пока его самого не заметили через неровно вырезанное окошко.

– Ты кто? – спросил хрипловатый детский голос, и в дверном проеме домика появилась повязанная цветастым платком голова. – Лучше уходи. Здесь чужим нельзя.

– Почему? – с интересом спросил мальчик.

Пошатнувшись, шалаш выпустил еще двоих обитателей. Третий остался выглядывать из окошка. Троє загорелых мальчишек с разрисованными лицами уставились на него через сетку.

– Он не из этих, – сказал один другому, кивая на зубцы многоэтажек. – Он вообще нездешний. Вон как глядит…

– Мы на автобусе приехали, – объяснил мальчик в жакетке. – А потом еще пешком.

– Вот иди отсюда пешком, – посоветовали ему из-за сетки.

Он отошел на несколько шагов. Он не обиделся. Просто это были странные мальчишки. Что-то с ними было не так. И ему хотелось понять, что именно.

Те, со своей стороны, разглядывали его и обсуждали без всякого смущения.

– С Северного полюса, наверное, – сказал маленький, с очень круглой головой. – В кофточке. Совсем дурачок.

– Сам ты дурачок, – сказал другой. – Рук нету, вот он и в кофте. К нам привезли. Не видишь?

Они переглянулись и захихикали. Тот, что сидел в домике, тоже засмеялся, раскачивая его своим смехом.

Мальчик в жакетке попятился.

Они продолжали смеяться:

– К нам, к нам!

Он повернулся к ним спиной и побежал. Неуклюже сутулясь, чтобы не слетела жакетка.

Выскочив за угол, врезался в кого-то, и тот схватил его за плечи.

– Эй, потише! Что такое?

Мальчик затряс головой.

– Ничего. Извините. Меня ждут вон там. Пожалуйста, отпустите.

Но человек его не отпустил.

– Пойдем, – сказал он. – Твоя мать сидит у меня в кабинете. Я уже начал гадать, что говорить, если не найду тебя.

Человек был из прохладного дома. У него были синие глаза и серые волосы, он был горбоносый и щурился, как щурятся люди, которые носят очки.

Они поднялись по ступенькам, и человек из прохладного дома взял чемодан. Дверь была приоткрыта. Он посторонился, пропуская мальчика.

– А те, из шалаша… Они здесь живут? – спросил мальчик.

– Да, – обрадовался синеглазый. – А вы уже познакомились?

Мальчик промолчал.

Он переступил порог, человек из Дома вошел следом, и дверь за ними захлопнулась.

Они жили в комнате, уставленной полками с игрушками. Мальчик и мужчина. Мальчик спал на диване с плюшевым крокодилом, мужчина ставил рядом раскладушку. Оставаясь один, мальчик выходил на балкон, ложился там на надувной матрас и смотрел сквозь перила на игравших внизу ребят. Иногда вставал, чтобы его было видно. Ребята задирали головы и улыбались. Но никогда не звали спуститься. Втайне он ждал этого приглашения, но его не звали. Разочарованный, он ложился обратно на матрас, смотрел вниз из-под полей соломенной шляпы и слушал их тонкие, похожие на птичьи, голоса. Иногда он закрывал глаза и представлял себя на пляже, дремлющим под тихий шелест волн. Крики мальчишек делались чаячими. Ноги облезали и покрывались коричневым загаром. Он уставал от

безделья.

Вечерами они сидели на ковре, мальчик и синеглазый, носивший странное имя Лось, которое не было именем, слушали музыку и разговаривали. У них был скрипучий проигрыватель и пластинки в ветхих конвертах, которые мальчик разглядывал, как картины, очень внимательно, ища в них сходство с музыкой и не находя его.

Летние ночи входили в балконную дверь. Они не включали свет, чтобы не приманивать комаров. Однажды мальчик увидел мелькнувшую по синему бархату неба тряпку. Это была летучая мышь, похожая на крысиное привидение в рваном плаще. С тех пор он садился так, чтобы видеть небо.

— Почему ты называешь себя Лосем? — спросил однажды мальчик. Он думал о бродящих по лесам лосях, с рогами, кружевными, как дубовые листья. О них и об оленях, которые доводились им родственниками. Хотя у оленей рога были совсем другие. Он долго думал обо всем этом, прежде чем спросить.

— Это кличка, — объяснил Лось. — Прозвище. У всех в Доме есть прозвища, так уж здесь повелось.

— И у меня тоже, раз я здесь живу?

— У тебя пока нет. Но будет. Когда вернутся остальные ребята и ты переберешься в общую спальню, тогда и у тебя тоже появится кличка.

— Какая?

— Не знаю. Надеюсь, что симпатичная. Если повезет.

Мальчик задумался, как его можно назвать, но ничего не придумал. Это зависело от тех, которые должны были вернуться. И ему захотелось, чтобы они вернулись поскорее.

— Почему они не зовут меня? — спросил мальчик Лося. — Думают, что я не могу играть? Или они меня не любят?

— Нет, — сказал Лось. — Просто ты в Доме новый человек. Должно пройти какое-то время, прежде чем они к тебе привыкнут. Поначалу так бывает со всеми. Потерпи.

— Сколько времени должно пройти? — спросил мальчик.

— Тебе очень скучно? — спросил его Лось.

На следующий день Лось пришел не один. С ним был мальчик, который никогда не играл во дворе и которого никогда не было видно из окон.

— Я привел тебе друга, — сказал Лось. — Он будет жить с тобой, и ты не будешь скучать в одиночестве. Это Слепой. Делайте что хотите — играйте, беситесь, ломайте мебель, только постарайтесь не ссориться и не жаловаться друг на друга. Комната теперь ваша.

Слепой не играл с ним, потому что не умел играть. Он послушно сидел с мальчиком, будил его по утрам, умывал и причесывал. Слушал его рассказы, почти не отвечая, и ходил по пятам, как приkleенный. Не потому, что ему так хотелось. Просто ему казалось, что именно этого хотел от него Лось. Желание Лося было для него законом. Если бы Лось попросил, он прыгнул бы с балкона или с крыши. Или даже сбросил оттуда кого-нибудь другого. Безрукого мальчика это пугало. Лося это пугало намного сильнее. В душе Слепой был взрослым — взрослым отшельником. У него были длинные волосы и лягушачий, в красных болячках рот, он был бледный, как привидение, и ужасно худой. Ему было девять лет. Лось был его богом.

Память Слепого пахла, звенела и шуршала. Она несла запахи и ощущения. Она не простиралась так далеко, как у других, — раннего детства Слепой не помнил. Почти. Например, из самых дальних ее глубин он извлекал только бесконечное сидение на горшке. Их там было много, очень маленьких мальчиков, и все сидели в ряд на одинаковых жестяных горшках. Воспоминание было грустным и плохо пахло. Позже он вычислил, что их выдерживали в этой позиции не меньше получаса. Многие успевали сделать все, что полагалось, но оставались сидеть, дожидаясь остальных, потому что таков был порядок, а к

соблюдению порядка их приучали с пеленок.

Еще он помнил двор. Где они гуляли, держась друг за друга, но все равно спотыкаясь и падая. Гулять следовало осторожно, цепью, держась за одежду впереди идущего. Возглавляли и замыкали эту колонну взрослые. Если кто-то останавливался или отклонялся от общего маршрута, сверху раздавались их громкие, наводящие порядок голоса. Весь его мир делился тогда на два вида голосов. Одни руководили сверху, другие были ближе и понятнее, они принадлежали таким же, как он. Но их он тоже не любил. Иногда громкие голоса исчезали. Если они пропадали надолго, то он и другие – такие же, как он, – начинали бегать, прыгать, падать и разбивать себе носы, и сразу оказывалось, что двор вовсе не так велик, как кажется, если ходить по нему гуськом, а наоборот, тесен и мал, и поверхность его покрыта чем-то твердым, царапавшим коленки.

Позже он помнил драки. Частые драки, возникавшие без особых причин. Достаточно было кого-нибудь толкнуть, а там, где он жил, толкались постоянно. Его толкали, и он толкал – не нарочно, просто так получалось – и с какого-то времени за первым случайным толчком следовал другой, более сильный, после которого трудно было устоять на ногах, или удар, после которого что-нибудь начинало болеть. Тогда он начал бить сам, не дожидаясь, пока его ударят. Иногда после этого сверху раздавались рассерженные взрослые голоса, и его уводили в другую комнату. В место для наказанных. Там не было ни столов, ни стульев, ни кроватей. Были только стены и потолок, но про потолок он тогда не знал. Комнаты он не боялся. Другие, когда их запирали, плакали, он не плакал никогда. Он любил одиночество. Ему было все равно, есть рядом люди или нет. Если хотелось спать, он ложился на пол и засыпал, если хотелось есть, доставал из карманов припрятанные куски хлеба. Если оставляли взаперти надолго, отколупывал от стен штукатурку и грыз ее. Штукатурку он любил даже больше, чем хлеб, но взрослые сердились, заставая его за этим занятием, и он сдерживался, давая себе волю, только когда оставался один.

Он рано понял, что его не любят. Его отличали от других детей, чаще других наказывали и приписывали чужие проступки. Он не понимал почему, но не удивлялся и не обижался. Он никогда ничему не удивлялся. Никогда не ждал от взрослых ничего хорошего. Он решил, что взрослые несправедливы, и смирился с этим. Научившись делить их на мужчин и женщин, отметил, что женщины относятся к нему хуже, чем мужчины, но и этому факту не стал искать объяснений, а просто принял к сведению, как принимал к сведению все окружавшее его.

Со временем он понял, что мал ростом и слаб. Он понял это, когда голоса других детей начали доноситься немного сверху, а их удары причинять ему больше вреда. Примерно в это же время он узнал, что некоторые из детей видят. Что это такое, он долго не мог понять. Он знал, что взрослые обладают каким-то большим преимуществом, позволявшим им свободно передвигаться за пределами его мира, но связывал это с их ростом и силой. Что такое «видеть», Слепой не понимал. А поняв умом, не мог представить. Долгое время понятие «зрячий» ассоциировалось для него только с меткостью. Зрячие били больнее.

Осознав преимущество более сильных и что-то видящих, он начал прилагать усилия, чтобы стать не хуже. Для него это было важно. Он очень старался – и его начали бояться. Слепой быстро понял, что именно вызывает страх. Дети боялись не силы, которой у него не было, а того, как он себя держал. Его спокойствия и безразличия, того, что он ничего не боится. Когда его били, он не плакал, а просто вставал и уходил. Когда он бил кого-то, этот кто-то обычно плакал, пугаясь его спокойствия. Он научился находить больные места, этого тоже боялись.

Чем старше он становился, тем острее ощущал общую неприязнь. Она проявлялась по-разному у детей и у взрослых, но в какой-то момент окружила его плотной стеной одиночества.

Так продолжалось, пока не появился Лось. Человек, говоривший с ним не как с одним из многих. Слепой не мог знать, что Лося вызвали специально для него. Он думал, что Лось выделил его среди остальных, полюбив сильнее. Он вошел в его жизнь, как к себе в комнату,

перевернул все вверх дном, переставил и заполнил собой. Своими словами, своим смехом, ласковыми руками и теплым голосом. Он принес с собой много такого, о чем Слепой не знал и мог бы никогда не узнать, потому что никого всерьез не волновало, что знает и чего не знает Слепой. Мир его состоял из нескольких комнат и двора. Другие дети в сопровождении взрослых с удовольствием выходили за пределы этого мира, он всегда оставался. В этот куцый, четырехугольный мирок и ворвался Лось, заполнил его целиком, сделал бескрайним и бесконечным, а Слепой отдал ему свои душу и сердце – всего себя – на вечные времена.

Другой бы не понял и не принял, другой на месте Лося мог бы даже не заметить этого, но Лось все понял, и когда настало время уходить, он знал, что Слепого ему придется взять с собой.

Слепой на это не рассчитывал. Он догадывался, что Лось рано или поздно уйдет, что он снова останется один и что это будет очень страшно. Но не представлял, что может быть и по-другому. А потом случилось чудо. Память сохранила тот день во всех подробностях, со всеми звуками и запахами, с теплом солнечных лучей на лице. Они куда-то шли, и Слепой цепко, очень цепко держал Лося за руку, и сердце его трепыхалось, как раненая птица. Ему было больно от слишком большого счастья. Они шли долго. Солнце грело, камешки хрустели под ногами, где-то вдали с ревом проносились машины. Так долго и так далеко ему никогда еще не приходилось ходить. Потом они ехали в машине, где ему пришлось отпустить руку Лося, и он уцепился за полу его пиджака.

Так они приехали в Дом, где тоже было много детей, но, в отличие от тех, прежних, все они были зрячие. Он уже знал, что это значит – что у каждого из них есть что-то, чего нет у него. Но его это больше не беспокоило. Главное, рядом был Лось – человек, которого он любил и который любил его.

Потом оказалось, что Дом живой и что он тоже умеет любить. Любовь Дома была не похожа ни на что. Временами она пугала, но всерьез – никогда. Лось был богом, и место, где он жил, не могло быть простым местом. Но и причинить вреда оно не могло. Лось не показывал, что знает о настоящем Доме, прикидывался непонимающим, и Слепой догадался, что это Великая Тайна, о которой не следует говорить вслух. Даже с Лосем. Поэтому он молчал и просто любил Дом, как никто прежде. Ему нравился запах Дома, нравилось, что в нем много отсыревшей штукатурки, которую можно отколупывать от стен и поедать, нравился большой двор и длинные коридоры, по которым интересно бродить. Ему нравились щели в стенах Дома, его закутки и заброшенные комнаты, то, как долго в нем держатся следы проходящих, нравились дружелюбные призраки и все без исключения дороги, которые Дом перед ним открывал. Здесь он мог делать все, что хотел. Раньше за каждым шагом наблюдали вздесущие взрослые. На новом месте этого не было, и с непривычки это было странно, даже неудобно, хотя привык он быстро, гораздо быстрее, чем ожидал.

Синеглазый Лось – ловец детских душ – вышел на крыльце и посмотрел на небо. Раскаленное, оно затухало красным на горизонте. Вечер не нес прохлады.

Сидевший на крыльце мальчик с подбитым глазом тоже смотрел в небо.

– Что случилось? – спросил его Лось.

Мальчик скривился.

– Он сказал – я должен уметь драться. А зачем, спрашивается? Он всегда молчит и молчит, как глухой, – вот и молчал бы дальше. Когда он говорит, с ним вообще невозможно. Я раньше думал: «Как плохо, что он молчит!» А теперь думаю, что было лучше. И драки его мне не нужны. Шарахнулся зачем-то по глазу. Завидует моему зрению, наверное...

Лось спрятал руки в карманы брюк и покачался на пятках:

– Болит?

– Нет.

Мальчик поднялся и лег животом на перила, свесившись во двор.

– Просто он мне надоел. Иногда кажется, что у него с головой не все в порядке. Странный он какой-то.

— Он говорит о тебе то же самое, — Лось прятал улыбку, рассматривая понурую фигуру на перилах. — Но ты ведь помнишь наш уговор?

Мальчик покачался, оттолкнувшись ногами от дощатого настила крыльца.

— Помню. Не жаловаться, не обижаться и не дуться. А я и не дуюсь, и не жалуюсь. Я просто гуляю, — он задрал голову и перестал раскачиваться. — Смотри, Лось, как красиво! Красное небо. А деревья — черные. Как будто небо их сожгло.

— Пошли, — Лось повернулся к двери. — С балкона вид еще красивее. Здесь ты кормишь комаров.

Мальчик нехотя слез с перил и пошел следом.

— Бедняга Слепой ничего этого не видит, — сказал он с тихим злорадством. — Понятно, почему он такой нервный.

— А ты расскажи ему, — ответил Лось, открывая дверь. — Ему будет приятно послушать о том, чего он не видит.

— Ага, — кивнул мальчик. — Конечно. И он подобает мне второй глаз, чтобы мы с ним сравнялись во всем. Это ему тоже будет приятно.

Двоих мальчишек лежали на балконе на надувном матрасе, голова к голове. Мальчик в соломенной шляпе с пустыми рукавами рубашки, подмятыми под живот, монотонно бормотал, не поднимая глаз от цветастого матраса:

— Они белые и движутся, а по краям как будто рваные или немного покусанные. Снизу розоватые. Розовое — это вроде красного, только светлее. А движутся они очень медленно, надо долго смотреть, только тогда увидишь. Сейчас их мало. А когда бывает много, то уже не так солнечно, а если еще и тучи, то совсем темно, и тогда даже дождь может пойти...

Длинноволосый мальчик поднял голову и нахмурился:

— Не надо про то, чего нет. Рассказывай про то, что сейчас.

— Ладно, — согласился мальчик в шляпе и перевернулся на спину. С матраса посыпались завалившиеся в углубления кукурузные зерна и крошки печенья. — Значит, они белые, а снизу розоватые и тихо плывут, а вокруг все голубое.

Он прищурился, глядя сквозь выгоревшие ресницы в ровную, без единого облачка, синеву неба и, улыбаясь, продолжил:

— Под ними все голубое и над ними тоже. А сами они, как белые барашки. Жаль, что ты не видишь эту красоту...

Дом был пуст или казался пустым. По утрам уборщицы-невидимки пересекали коридоры, оставляя за собой блестящие мастикой следы. В пустых спальнях в оконные стекла бились мухи. Во дворе, в шалаше из картонных коробок, жили трое загорелых до черноты мальчишек. Ночами выходили на охоту кошки. Днем они спали, свернувшись в пушистые клубки. Дом был пуст, но кто-то прибирал его, кто-то готовил еду и складывал ее на подносы. Чьи-то руки выметали мусор и проветривали душные комнаты. Жившие в картонном домике, прибегая в Дом за бутербродами и водой, оставляли на чистых полах фантики от конфет, комки жевательной резинки и пыльные следы. Они старались изо всех сил, но их было слишком мало, а Дом был слишком велик. Гр охот их ботинок замирал, поглощенный тишиной, крики глохли меж пустых стен, и после каждой вылазки они торопились вернуться в свой маленький дворовый лагерь, подальше от мертвых, безликих комнат, пропахших мастикой, одинаковых, как близнецы. Невидимые руки сметали их следы. Только одна комната была жилой. Ее жильцов не пугала необитаемость Дома.

Мальчик и сам не знал, чего так испугался в тот первый день, когда они вернулись. Его разбудил шум их присутствия. Проснувшись, он с удивлением понял, что Дом заполнен людьми, что тишины — знайкой, летней тишины, к которой он успел привыкнуть за месяц, — больше нет. Дом скрипел, охал и посвистывал, хлопал дверьми и звенел стеклами, перекликался сам с собой музыкальными отрывками через стены, кипел и бурлил жизнью.

Он сбросил простыню и выбежал на балкон.

Двор был заполнен людьми. Они толпились вокруг двух красно-синих автобусов, смеялись, курили и перетаскивали толстые рюкзаки и сумки с места на место. Цветастые, загорелые, шумные, пахнущие морем. Горячее небо жарило двор. Он смотрел на них, присев на корточки, вжавшись лбом в прутья перил. Он хотел быть среди них, невидимой частью взрослой, прекрасной жизни, изнывал от желания спуститься – и не двигался с места. Кто-то должен был его одеть. Насмотревшись, он вернулся в комнату.

– Слышишь? – спросил Слепой, сидевший на полу возле двери. – Слышишь, сколько от них шума?

Слепой держал его шорты. Мальчик подбежал и поочередно просунул ноги в штанины. Слепой застегнул молнию.

– Ты их не любишь? – спросил мальчик, наблюдая, как тот шнурует его кеды.

– А за что? – Слепой скинул его ногу с колена и поставил другую. – За что я их должен любить?

Он едва дождался жакетки и не дотерпел до расчески. Отросшие за лето светлые волосы остались взъерошенными.

– Все, пусти! Я пойду! – крикнул он и побежал, оскальзываясь от нетерпения. Коридор, лестница, первый этаж. Распахнутую дверь во двор подпирал полосатый чемодан. Он выбежал на крыльцо и замер в растерянности.

Кругом были лица. Чужие и острые, как лезвия ножей. Пугающие пронзительные голоса. И он испугался. Эти были совсем не те люди, к которым он спешил. Они были черны от солнца, они смеялись и пестрели цветастыми рубашками, но были совсем другими.

Он сел на ступеньку, не сводя с них бирюзово-кошачьих глаз. Дрожь пробежала по позвоночнику. «Вот они какие, – подумал он горько. – Склевые из кусочков. И я один из них. Такой же. Или стану таким. Это как зоопарк. И ограда – сетка со всех сторон».

Там был один в коляске – белый, как мраморная статуя, седой и изможденный, а был и другой – почти фиолетовый, распухший, как утопленник, и такой же страшный. Тоже неходячий, окруженный девушками, которые толкали его коляску. Девушки смеялись и шутили. В каждой из них был изъян – и они были склеенные. Он смотрел на них, и ему хотелось плакать.

Высокая, черноволосая девушка в розовой рубашке остановилась рядом.

– Новенький, – сказала она, глядя на него колдовскими глазами, в которых радужка сливалась чернотой со зрачком.

– Да, – согласился он грустно.

– У тебя уже есть кличка?

Он помотал головой.

– Тогда будешь Кузнециком, – она тронула его за плечо. – У тебя в ногах будто по пружинке запрятано.

«Видела, как я несся по лестнице», – подумал он, краснея.

– Вон тот, кого ты ищешь, – она показала в сторону одного из автобусов.

Мальчик посмотрел и увидел, что там, рядом с человеком в черной футболке и в черных брюках, стоит Лось. Он обрадовался и улыбнулся девушке.

– Спасибо, – сказал он. – Вы угадали, я именно его искал.

Она пожала плечами:

– Нетрудно догадаться. Все мальчики его ищут. А ты еще совсем свежий малек. Не забудь свою кличку и свою «крестную». Я Ведьма.

Она поднялась на крыльцо и вошла в Дом. Кузнецик смотрел ей вслед очень внимательно, но не увидел склеенных кусочков.

«Теперь у меня есть кличка!» – подумал он и побежал к Лосю.

Ласковая рука опустилась ему на плечо, он прижался к Лосю и замурлыкал от удовольствия. Человек в черном насмешливо смотрел на них из-под густых бровей.

– Еще одно преданное сердце, Лось? Когда ты только успеваешь?

Лось нахмурился, но промолчал.

— Шутка, — сказал черный человек. — Просто шутка, старина, не сердись, — и отошел от них.

— Кто это? — тихо спросил Кузнечик.

— Один из воспитателей. Ездил с ребятами в санаторий, — рассеянно ответил Лось. — Черный Ральф. Или Р Первый.

— А что, есть другие, такие же, как он? Вторые, трети и четвертые?

— Нет. Других таких нет. Просто его почему-то так прозвали.

— Дурацкое лицо, — сказал Кузнечик. — Я бы на его месте отрастил бороду, чтобы его не было видно.

Лось рассмеялся.

— А знаешь, — мальчик потерся щекой о его ладонь, — у меня теперь тоже есть кличка. Угадай, какая? Ни за что не угадаешь.

— Не стану и пытаться. Наверное, что-то летучее.

— Почти так. Кузнечик, — он вскинул голову, внимательно вглядываясь в лицо Лося. Понравилось ли ему? — Это хорошо?

— Да, — Лось взъерошил ему волосы. — Считай, тебе повезло.

Кузнечик сморщил облупленный нос.

— Я тоже так подумал.

Он посмотрел на склеенных. Их стало меньше. Многие ушли в Дом.

— Ты рад, что ребята вернулись? Теперь тебе будет веселее.

В голосе Лося не было уверенности, и он это рассыпал.

— Они мне не нравятся, — признался он. — Они старые, переломанные и некрасивые.

Сверху все было по-другому, а отсюда все плохо.

— Никому из них нет и восемнадцати, — обиделся Лось. — И с чего ты взял, что они некрасивые? Ты несправедлив.

— Нет. Они уроды. Особенно вот этот, — мальчик кивнул на фиолетового. — Он как будто давным-давно утонул. Разве нет?

— Это Мавр. Запомни его кличку.

Лось выбрал один чемодан из чемоданной кучи и пошел к Дому. Кузнечик шагал рядом, бесшумный, как тень, и такой же липучий. Они прошли мимо фиолетового, в мягком, оплывшем лице которого тонули недобрые глаза. Кузнечик спиной ощутил на себе их взгляд и зашагал быстрее, вдруг испугавшись чего-то.

«Неужели услышал, что я сказал про него? Как глупо! Теперь он запомнит меня и мои слова».

У входа курили трое ходячих. Один, высокий, хищнолицый, с короткой стрижкой кивнул Лосю. Лось остановился. Кузнечик тоже.

На шее хищнолицего, перекрученный на цепочке, висел обезьяний черепок. Хрупкий, пожелтевший, с остро торчавшими клыками. Мальчик завороженно смотрел на взрослую игрушку. Какой-то в ней был секрет. Что-то было в нее вделано такое, что придавало пустым глазницам таинственный влажный блеск. Черепок казался живым. Чтобы разгадать секрет, надо взять его в руки, рассмотреть, поковырять пальцем в дырках, но смотреть, ничего не понимая, даже интереснее. Он пропустил, что сказали друг другу Лось и хозяин игрушки, но, входя в Дом, услышал от Лося:

— Это Череп. Запомни и его тоже.

«Мавр, Череп и Ведьма — моя крестная, — думал Кузнечик, взбегая по ступенькам. — Надо запомнить этих троих, и еще неприятного воспитателя, которому не хватает бороды, и белого в коляске, про которого никто ничего не сказал, и этот день, когда я получил кличку».

Комнаты менялись на глазах. Бежевые стены оклеились плакатами, полосатые матрасы исчезли под ворохом одежды. Каждая кровать стала чьей-то и почти каждая превратилась в свалку. Шишки с шершавыми боками, разноцветные плавки, ракушки и коралловые ветки,

чашки, носки, амулеты, яблоки и огрызки яблок... Каждая комната сделалась особенной, не похожей на другие. Он ходил, принюхиваясь, спотыкаясь о выпотрошенные сумки и рюкзаки, прятался по углам, жадно впитывал перемены. Никто не обращал на него внимания. Все были заняты своими взрослыми делами.

В одной из спален из тонких сухих деревяшек складывали что-то, похожее на шалаш. Он просидел там долго, дожидаясь результатов, потом ему надоело, и он перешел в другую комнату, где тоже что-то сооружали и устанавливали. Чтобы не путаться под ногами, Кузнецик сел на низкую скамейку возле двери. Старшеклассники смеялись, переговаривались, бросали друг другу сумки и пакеты, пили из бумажных стаканчиков, комкали их и бросали на пол. Весь пол был усеян картонными гармошками. Они сплющивались под ногами и пахли лимонадом. Кузнецик незаметно загонял их ногами под свою скамейку. Потом в спальню появился тощий, патлатый воспитатель в очках без оправы, похожий на Джона Леннона, и вытащил его из укрытия.

— Ты новенький, — произнес он невнятно, пережевывая зубочистку. — Почему не в своей спальне?

Близорукие глаза за толстыми стеклами бегали, как черные букашки.

— У меня еще нет своей спальни, — сказал Кузнецик и попробовал вывернуться из-под костлявых пальцев, скавших его плечо.

Пальцы сжались сильнее.

— В таком случае следовало бы для начала узнать, где тебе нужно находиться, — сказал очкастый и выплюнул зубочистку. — Я думаю, твоя спальня будет шестая. Там есть свободное место. Пойдем.

Воспитатель вытащил его в коридор. Кузнецик почти бежал, стараясь попасть в такт его размашистому шагу. Воспитатель нетерпеливо подергивал его за ворот.

Шестая спальня оказалась в самом конце коридора. Она была меньше, чем комнаты старшеклассников, и темнее из-за матерчатых козырьков над окнами. Здесь тоже шла распаковка. Но здесь были его ровесники. Может, чуть постарше или помладше. Они сидели на кроватях, сосредоточенно ковыряясь в сумках. Как только вошел воспитатель, все остались сумки и встали.

— Новенький, — сказал воспитатель. — В вашу комнату. Покажите ему все и объясните.

Он достал свежую зубочистку и сунул ее в рот.

— Все понятно?

Мальчишки закивали.

Воспитатель тоже кивнул и ушел, даже не оглянувшись.

Они молча обступили его и уставились на болтавшиеся рукава жакетки. Кузнецик понял, что они уже все знают. Смотрели они странно. Равнодушно и насмешливо, как будто егоувечье их забавляло.

— Ты новичок, — сообщил один — тощий, с выпученными голубыми глазами. — Сейчас мы тебя поколотим. Ты захнычешь и станешь звать свою мамочку. Так всегда бывает.

Он попятился.

Они засмеялись. Он прижался спиной к двери. Они подошли ближе, улыбаясь и перемигиваясь. Они тоже были склеенные.

В доме

Бандерлог Лэри, стуча подкованными сапогами, поднимался на второй этаж. Следом, отставая на две ступеньки, шел Конь. Цокот его каблуков сливался с цокотом каблуков Лэри, и этот привычный звук — Лэри любил его в грохочуще-наступательной версии: десять пар копыт, скрип кожи и позвякивание пряжек — сегодня раздражал, вызывая головную боль. Потому что это не было правдой. Звон, стук и напор, но помимо этого ничего, чем можно защититься от настоящей беды. Таковы Логи. Картонные Ангелы Ада. Без мотоциклов, без мускулов, без подлинного запаха самцов. Не вселяющие страх ни в кого, кроме жалких

Фазанов. Берущие количеством и шумом. Разверни черную кожу широкоплечей куртки – и найдешь хилое, прыщавое тело. Заверни обратно, спрячь торчащие ребра и тонкую шею, завесь испуганные глаза волосами – получишь Бандерлога. Собери десять штук таких же – получишь грозную стаю. Лавину стучащих сапог и запах спиртового лосьона. Может, испугаешь пару Фазанов.

Лэри понял, что говорит вслух, только когда Конь сзади уважительно охнул: «Ну и мощный депрессняк тебя пробил, старина!» – понял и расстроился еще сильнее.

– Эй, ты не прав, – Конь нагнал его и пошел рядом. – Не такая уж мы мелкая шушера. Нет здоровенных кулаков, зато все про всех знаем. «Владей информацией» – помнишь?

Лэри, конечно, помнил. Этими самыми словами он – вожак Логов – утешал своих соратников во все времена. До того как все начало разваливаться. До того как ему самому понадобились утешения. Сейчас выяснилось, что они вовсе не настолько утешительны, как ему казалось. Конь старался. Но в затертых словах больше не было силы.

Лэри пнул урну, попавшуюся на пути, и с ее крышки со звоном слетела оставленная там кем-то пепельница – банка из-под сардин. Он наступил в кучку окурков и побрел дальше, чиркая каблуком о паркет, чтобы избавиться от налипшей жвачки.

– Не стоило вот так вот уходить, – бормотал Конь. – Теперь все разбегутся по спальням. Захотим чего узнать – замучаемся их выковыривать.

– А зачем? – рассеянно спросил Лэри. – И так все ясно. С самыми важными новостями. Не надо быть Логом, чтобы тебя держали в курсе.

Они прошли мимо первой, по привычке замедлив шаг, но тут на Лэри снова накатило, и он перешел в галоп. Конь, встрепенувшись, поскакал следом.

– Эй, притормози! Ты чего?..

Лэри остановился так резко, что Конь налетел на него, и оба чуть не упали.

– У меня теперь свой личный Фазан, – объяснил Лэри с отвращением. – Чего мне их у первой высматривать? Как ни войдешь в спальню – он уже там. Разъезжает, как хозяин. От этого чокнуться можно.

Конь сделал скорбное лицо:

– Ясное дело, можно.

На Перекрестке Лэри плохнулся на диван и сковырнул с каблука жвачку. Конь пристроился рядом, вытянув тонкие, паучьи ноги. Лэри покосился на него, мимолетно ужаснувшись: «И я такой же тощий? Похожий на метлу?»

Не подозревая о нехороших мыслях друга, Конь с комфортом развалился, откинувшись на спинку дивана.

– Он ползает, как кусок дерьяма, – пожаловался Лэри. – То есть вообще никак. Смотреть противно. Вот спрашивается, почему я должен все время смотреть на такое и мучиться?

– Балованный ты, – вздохнул Конь. – Ваши колясники – не колясники, а черти какие-то. Пожил бы у нас в Гнезде...

Проблемы Гнезда Лэри не трогали. Его расстраивало нежелание Коня понять простые вещи. И посочувствовать.

– Конь, – сказал он. – Ты все понимаешь. Только не хочешь. Добыча Лога не должна разъезжать по его логову.

Сказав это, он тут же усомнился. Логово Лога? По идеи, у Логов его не бывает. Потому что в своем логове Лог уже не Лог.

Запутавшись, Лэри мотнул головой.

– У меня из-за него какие-то особенные прыщи. Звери, а не прыщи. Это нервное.

Конь сочувственно крякнул. У Лэри все прыщи были особенные. Взрывы и воронки от взрывов, извергающиеся вулканы и кратеры вулканов. Что угодно, только не простые прыщи. Конь в прыщах разбирался, у него самого их было немало. Слегка помогали спиртовые примочки и совершенно не помогали мази, а Лэри не помогало ничего и никогда, потому что от взрывов на лице спасения не бывает. Конь осмотрел близлежащие кратеры, не заметил никаких перемен к худшему, но говорить об этом не стал.

— Я сегодня дал ему по морде, — сообщил Лэри безрадостно. — Утром.

Конь заерзal:

— И чего?

— Ничего, — передернулся Лэри. — Утерся.

— А остальные? — с интересом спросил Конь.

— Тоже ничего, — совсем с другой интонацией произнес Лэри.

— А повод?

— Он весь — один сплошной повод.

Они замолчали. Две длинные, тощие фигуры в черной коже сидели нога на ногу. Каждый покачивал в воздухе остроносым сапогом. Сзади их можно было бы перепутать, если бы не белая грива Коня, стянутая в хвост.

— Помпей сказал... — начал Конь осторожно.

— Пожалуйста, не надо, — скривился Лэри. — Знать не желаю, что он там сказал. Успеем еще наслушаться.

— Ты что имеешь в виду? — удивился Конь. — Что он сумеет? Не факт.

Лэри только вздохнул.

— Не надо меня утешать. Я уже смирился.

Конь подергал губу.

— Черт, Лэри, — сказал он возмущенно, — ты просто не имеешь права так думать! Нельзя быть таким... непатриотом. Я бы на твоем месте себе такого не позволял.

Лэри уставился на Коня:

— Ты это серьезно? — спросил он. — При чем тут патриотизм? Нас десять, а их двадцать с лишним. Ты считать умеешь?

— Иногда один воин стоит десяти, — высокопарно заметил Конь.

Лэри посмотрел на него с жалостью.

— Ты считать умеешь? — еще раз спросил он.

Конь промолчал. Порывшись в карманах, достал карамельку и протянул ее Лэри. В открытое окно порывом ветра швырнуло горсть сухих листьев. Конь подобрал один упавший и, почесывая переносицу, принялся его рассматривать.

— Осень, — сказал он, поднеся скрученный лист к носу Лэри. — До следующего лета еще уйма времени. Помпей не из старых, но мы-то с тобой знаем...

— Что ничего по-настоящему страшного не случается до последнего лета, — со слабой улыбкой закончил за него Лэри. — Эх, Конь, только это меня и держит. Не то я бы, наверное, уже спятил.

Конь раскрошил жухлый лист и отряхнул ладонь.

— Ну так не забывай, — попросил он.

О цементе и непостижимых свойствах зеркал

[Курильщик]

В четвертой нет телевизора, накрахмаленных салфеток, белых полотенец, стаканов с номерами, часов, календарей, плакатов с возвзваниями и чистых стен. Стены от пола до потолка расписаны и забиты полками и шкафчиками, рюкзаками и сумками, увешаны картинами, коллажами, плакатами, одеждой, сковородками, лампами, связками чеснока, перца, сушеных грибов и ягод. Со стороны это больше всего похоже на огромную свалку, карабкающуюся к потолку. Кое-какие ее фрагменты туда уже добрались и закрепились, и теперь раскачиваются на сквозняке, шелестя и позвякивая, или просто висят неподвижно.

Внизу свалку продолжает центральная кровать, составленная из четырех обычных и застеленная общим гигантским пледом. Это и спальное место, и гостиная, и просто пол, если кому-то вздумается срезать путь напрямую. На ней мне выделили участок. Кроме меня здесь

ночуют Лорд, Табаки и Сфинкс, так что участок совсем маленький. Чтобы на нем заснуть, требуются специальные навыки, которые у меня еще не выработались. Через спящих в четвертой перешагивают и переползают, ставят на них тарелки и пепельницы, прислоняют к ним журналы... Магнитофон и три настенные лампы из двенадцати не выключаются никогда, и в любое время ночи кто-нибудь курит, читает, пьет кофе или чай, принимает душ или ищет чистые трусы, слушает музыку или просто шастает по комнате. После Фазаньего отбоя ровно в девять такой режим переносится с трудом, но я очень стараюсь приспособиться. Жизнь в четвертой стоит любых мучений. Здесь каждый делает что хочет и когда захочет и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Здесь даже воспитателя нет. Люди четвертой живут в сказке. Только чтобы понять это, надо попасть сюда из первой.

За три дня я научился:

- играть в покер;
- играть в шашки;
- спать сидя;
- есть по ночам;
- запекать картошку на электроплитке;
- курить чужие сигареты;
- не спрашивать который час.

Я так и не научился:

- варить черный кофе, не обливая плитку;
- играть на губной гармошке;
- ползать так, чтобы все, глядя на меня, не кривились;
- не задавать лишних вопросов.

Сказку портил Бандерлог Лэри. Он никак не мог смириться с моим присутствием в четвертой. Его раздражало все. Как я сижу, лежу, говорю, молчу, ем и особенно – как передвигаюсь. При одном взгляде на меня его перекашивало.

Пару дней он ограничивался тем, что обзвывал меня придуrom и обгаженной курицей, потом чуть не сломал мне нос якобы за то, что я сидел на его носках. Никаких носков подо мной не оказалось, зато потом все утро пришлось расписывать учительям, как я неудачно упал, пересаживаясь в коляску, и ни один из них мне не поверил.

За завтраком первая ликовала, разглядывая мою физиономию. Подозрительная таблетка от Шакала боль не сняла, зато усыпила так основательно, что с последнего урока пришлось отпроситься. Чтобы прийти в себя, я залез под душ и уснул прямо в кабинке. Оттуда меня каким-то образом перетащили в спальню.

Во сне я увидел Гомера. С выражением глубокого отвращения на лице он бил меня тапком. Потом мне приснилось, что я лиса, которую выкуривают из норы злые охотники. Они как раз вытаскивали меня за хвост, когда я проснулся.

Открыл глаза и увидел сомкнувшиеся над головой углы подушек. Между ними оставался маленький просвет, в который заглядывал желтый воздушный змей, пришпиленный к потолку. Заглядывал, потому что на нем было нарисовано лицо. Еще ко мне просачивались клубы пахнущего ванилью дыма. Так что лисы кошмары возникли не на пустом месте.

Я примял подушку, заслонявшую обзор, и увидел Сфинкса. Он сидел рядом, хмуро рассматривая шахматную доску, на которой почти не было фигур. Большая часть их валялась вокруг доски россыпью, а несколько штук, наверняка подо мной – что-то твердое и маленькое, втыкалось в меня в самых разных местах.

– Смирись, Сфинкс, – раздался голос Шакала. – Это ничья в чистом виде. Надо смотреть фактам в лицо. Уметь, не роняя достоинства, склоняться перед обстоятельствами.

– Когда мне понадобится твой совет, я предупрежу заранее, – сказал Сфинкс.

Я пощупал нос. Он болел уже не так сильно. Должно быть, таблетка все же подействовала.

— Ой, Курильщик проснулся! Глазами шмыгает! — грязная лапка с обкусанными ногтями похлопала меня по щеке. — Есть еще порох в пороховницах фазаньего племени. А вы говорили, помер!

— По-моему, кроме тебя, никто этого не говорил, — Сфинкс склонился надо мной, рассматривая повреждения. — От такого не умирают.

— Не скажи, не скажи, — отозвался невидимый Табаки. — Фазаны, даже бывшие, на все способны. Как живут? Отчего помирают? Только им самим ведомо.

Мне надоело лежать как больному, которого все обсуждают, и я сел. Не очень прямо, но обзор существенно расширился.

Табаки в оранжевой чалме, скрепленной английской булавкой и зеленом халате, в два раза длиннее его самого, сидел на груде подушек и курил трубку. Ванильный дым, которым в моем сне терзали лисицу, расползлся от него. Сфинкс, прямой и отрешенный, медитировал над шахматами. Из дыр в джинсах выглядывали острые колени. На нем был только один протез и облезлая майка, оставлявшая на виду все крепления, так что он смахивал на недособранный манекен. На подоконнике за занавеской просматривался чей-то силуэт.

— Мне снилось, что я лиса, — сказал я, отмахиваясь от сладкого дыма. — Меня как раз выкурили из норы, когда я проснулся.

Табаки переложил трубку в левую руку и поднял указательный палец:

— В любом сне, детка, главное — вовремя проснуться. Я рад, что тебе это удалось.

И он запел одну из своих жутких, заунывных песен, от которых у меня мурашки бегали по коже. С повторяющимся до одурения припевом. Обычно в них воспевались либо дождь, либо ветер, но на этот раз, в порядке исключения, это был дым, струящийся над пепелищем какого-то сгоревшего дотла здания.

Силуэт на подоконнике закопошился, плотнее задергивая занавеску, чтобы отгородиться от шакальных завываний, и по нервозности движений я угадал в нем Лорда.

Эгей, эгей... только серый дым, да воронье... Эгей, эгей, не осталось ничего...

Сфинкс неожиданно ткнулся лицом в одеяло, как будто клюнул его, потом выпрямился, мотнул головой, и в меня полетела пачка сигарет.

— Кури, — сказал он. — Успокаивай нервы.

— Спасибо, — ответил я, рассматривая пачку. Следов от зубов на ней не было. Слюны вроде бы тоже. Я выскреб из нее сигарету, поймал зажигалку, брошенную Шакалом, и опять сказал спасибо.

— Вежливый! — восхитился Табаки. — Как приятно!

Он закопошился. Долго перетряхивал полы халата, роняя на глаза чалму, и наконец выудил откуда-то из его складок стеклянную пепельницу, полную окурков.

— Вот. Нашел. Держи! — и запустил ею в меня, хотя сидел так близко, что вполне мог передать из рук в руки.

В полете пепельница растеряла свое содержимое, и по пледу запестрела дорожка из окурков. Я отряхнулся и закурил.

— А спасибо? — обиделся Шакал.

— Спасибо, — сказал я. — Спасибо, что промахнулся!

— Не за что, — с удовольствием ответил он. — Не стоит благодарности!

И он с удвоенной энергией затянул свое жуткое «эгей».

Сфинкс сказал, что согласен на ничью.

— Давно пора, — отозвался мягкий голос из-за спинки кровати. Раздвинув висевшие на ней сумки и пакеты, к нам взобралась белая, длиннопалая рука, перевернула доску и начала собирать в нее шахматные фигуры.

Эгей, эгей... почерневшие кастрюльки! Эгей, эгей, каркас медвежьего чучела... при жизни оно было вешалкой...

— Заткните кто-нибудь этого извращенца! — взмолился Лорд с подоконника.

Я как завороженный следил за рукой Слепого. Кроме того, что пальцы ее были

невозможно длинными и гнулись, как нормальные пальцы не сгибаются, если их не сломать, она была еще какой-то неприятно одушевленной. Странствовала по пледу, скользила, перебирала пальцами-щупальцами, только что не принююхивалась. Я вытащил из-под себя белую туру, буравившую мне зад, и осторожно положил перед ней. Рука остановилась, пошевелила средним усиком и, поразмыслив, стремительно ее сцепала. Я вздрогнул и поспешно принял на шаривать остальные завалившиеся под меня фигурки, потому что вдруг возникло нехорошее ощущение, что, не сделай я этого, хищная рука проберется туда и достанет их сама. Сфинкс наблюдал за мной с усмешкой.

Эгей, эгей... почерневший кулон! Ворона унесет его своим воронятам... славную игрушку, своим воронятам...

Лорд отдернул занавеску и стек с подоконника. С большим шумом, чем обычно, но я, глядя на него, и так чуть не заплакал от зависти.

– Не таращься зря, – посоветовал мне Табаки. – Все равно у тебя так не получится.

– Знаю. Мне просто интересно.

Шакал закашлялся и посмотрел на меня со значением. Как будто о чем-то предупреждая.

– Пусть тебе лучше не будет интересно.

Я не успел спросить почему, а Лорд уже влез на общую кровать. Я залюбовался его отточенными движениями. Табаки ползал, Лорд швырял себя вперед. Сначала забрасывал ноги, потом прыгал за ними на руках. На самом деле не очень приятное зрелище, а если замедлить, так и вовсе жутковатое. Но не для колясника. Кроме того, Лорд делал все так быстро, что и отследить не всегда удавалось. Я восхищался и смертельно завидовал, понимая, что мне такое не светит. Я не был акробатом. Табаки передвигался так же стремительно, но он был в два раза легче и ноги его слушались, так что от вида ползавшего Табаки я не впадал в депрессию.

Очнувшись на кровати, Лорд уставился на Шакала с кровожадным ожиданием. Ясно было, что еще одно «эгей», и Табаки придется худо. Он и сам это понял и сказал примирительно:

– Ну что ты, Лорд, так нервничаешь? Песня уже закончилась.

– Слава богу! – фыркнул Лорд. – А то мог бы закончиться ты!

Табаки изобразил испуг:

– Какие страшные слова, по такому ничтожному поводу! Опомнись, дорогуша! – Чалма съехала, прикрыв ему глаз. Он поправил ее и начал раскуривать погасшую трубку.

На полу зашумела кофеварка. Я отодвинул рюкзак и плетеную сумку, висевшие на спинке кровати.

По ту сторону прутьев на полу сидел Слепой. Черные волосы на белом лице, как занавеска. Серебряные глаза мертвого сквозь них просвечивали. Он курил и выглядел совершенно расслабленным. Шарившая по кровати рука, уже заканчивавшая уборку шахмат, будто и не имела к нему отношения. Пока я смотрел на него, она как раз вернулась, и Слепой, зажав сигарету в зубах, быстро погладил ее. Все так и было, мне не померещилось.

Хлопнула дверь.

Застучали каблуки.

Настроение сразу упало. С таким грохотом и стуком в спальню входил только Лэри. Я уронил обратно рюкзак и сумку-плетенку, потеряв из виду Слепого, и затаился. Не спрятался, конечно, скорее, замер, и не потому, что испугался. Просто в присутствии Лэри на меня нападал ступор. Слишком уж злобно он реагировал на любые признаки жизни с моей стороны.

Тощий, косоватый и какой-то всклокоченный, он встал возле кровати, уставившись на Шакала. Сказал: «Вот так вот», – и сел, будто сломался. Вид у него был до того потерянный, что Табаки поперхнулся дымом.

– Господи, Лэри! – пискнул он встревоженно. – Что стряслось?

Лэри посмотрел с иронией.

– Все то же самое. Мне хватает.

– А-а, – Табаки поправил чалму, мгновенно успокоившись. – А я было подумал, что-то новое.

Лэри хрюкнул. Это был очень выразительный звук. Демонстративный. Лорд, нервно реагировавший на любого рода звуки, попросил его вести себя потише.

– Потише? – Лэри как будто не поверил своим ушам. – Еще тише? Тише, чем мы, ведут себя только покойники! Мы здесь самые тихони, самые смиренные ребята! На нас на всех скоро трава вырастет, такие мы тихие...

– Не заводись, – поморщился Лорд. – Я имел в виду конкретно тебя. Конкретно в данный момент.

– А-а, ну да! – вскинулся Лэри. – Мы живем данным моментом, а то как же! Только данный момент, ни туда ни сюда. Ни о чем, кроме данного момента, и говорить не стоит. Нам даже часов носить нельзя, вдруг подумаем на пару минут вперед!

– Он хочет драки, – перевел Табаки Лорду. – Хочет кровавого избиения. Упасть между кроватями бездыханным и ни о чем больше не беспокоиться.

Лорд оторвался от шлифовки ногтей пилкой:

– Это мы ему запросто организуем.

Лэри уставился на пилку в руках Лорда и чем-то она ему очень не понравилась, потому что он передумал насчет драки.

– Я не завожусь, – сказал он. – Походите с мое в коридорах, вам тоже худо станет. Знаете, какая в Доме обстановка?

– Хватит, Лэри, – сказал Сфинкс. – Ты уже плешь всем проел своей обстановкой. Уймись.

Лэри так тряслось, что его дрожь передавалась мне через матрас. Я не понимал, почему ему не дают высказаться. Мне казалось, его бы это немного успокоило. Неприятно сидеть рядом с человеком, которого трясет от каких-то непонятных переживаний. Особенно если это Бандерлог.

Возле кровати возник Македонский – услужливая тень в сером свитере. Раздал всем кофе с подноса и исчез. То ли присел за спинкой, то ли слился со стеной. Чашка обожгла ладони, и я ненадолго отвлекся от Лэри, поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда он переключился на меня.

– Вот, – дрожащий палец с отрощенным ногтем уперся мне в лоб. – Из-за этой вот сущности мы и сидим в дерьме! Кофе в постель подаем вместо того, чтобы в цемент его закатать!

Табаки захлебнулся от восторга.

– Лэри, что ты мелешь, Лэри? – взвизгнул он. – Что ты несешь, дорогуша? Как бы ты проделал эту операцию? Где брать цемент? В чем его разводить? Как макать туда Курильщика и что с ним делать потом? Топить цементную статую в унитазе?

– Заткнись, козявка! – заорал Лэри. – Ты-то хоть помолчал бы раз в жизни!

– А то что? – изумился Шакал. – Свистнешь братьям-Логам, и они втащат сюда чан с жидким цементом и формочку для ног? Ответь мне только на один вопрос, дружище. Почему ты с такими наклонностями никак не научишься варить макароны?

– Потому что катись в задницу, придурок хренов!

Воплем Лэри со шкафа смело ворону.

Смело и зашивырнуло на стол у окна. И не ее одну. В свободное время Нанетта любила раздирать в клочки старые газеты. Эта мозаика из кусочков взлетела вместе с ней и засыпала все вокруг безобразным бурым снегом. Два клочка очутились в моем кофе.

Потом очень близко очутилось лицо Лэри с дико косящим левым глазом, а потом произошло сразу многое всего.

Мне ошпарило руку. Ворот рубашки скрутился и сдавил мне горло. Потолок завертелся. Он вертелся вместе с желтым змеем, пустой птичкой клеткой, деревянным колесом и последними газетными снежинками. Это было совершенно тошнотворное

зрелище, и я закрыл глаза, чтобы его не видеть. Каким-то чудом меня все же не стошило. Я лежал на спине, глотая слону с кровью и сдерживаясь изо всех сил.

Табаки усадил меня, заботливо поинтересовавшись, как я себя чувствую.

Я не ответил. Кое-как свел в фокус окружающие лица. Лэри среди них не было. Я не сомневался, что на этот раз он уж точно сломал мне челюсть. Слезы катились градом, но больше всего мучила не боль, а милая заботливость окружающих. Они вели себя так, как будто на меня рухнуло что-то тяжелое.

Табаки предложил еще одну чудо-таблетку Сфинкс попросил Македонского принести мокрую тряпку. Слепой возник из-за спинки кровати и спросил, сильно ли у меня кружится голова. Ни один из них не вступился за меня вовремя. Никто даже не сказал Лэри, что он скотина. От такого отношения пропало всякое желание общаться с ними и отвечать на вопросы. Я старался ни на кого не смотреть. Кое-как добрался до края кровати и попросил коляску. Совершенно невнятно, но Македонский тут же ее пригнал. Потом помог мне пересесть.

В туалете я умылся, стараясь не дотрагиваться до больных мест, и остался сидеть перед раковиной. Возвращаться не хотелось. Знакомое чувство. В первой со мной это часто случалось, но там никому не давали уединиться надолго. Здесь на такие вещи не обращали внимания, можно было торчать где угодно до глубокой ночи.

Туалет был точно такой же, как у первой. Только более обшарпанный. Трещин здесь было больше, и в паре мест кафель осыпался, обнажив трубы. Дверцы кабинок украшали облупившиеся наклейки. И почти каждая плитка кафеля была исписана фломастером. Надписи не держались, размазывались и тускнели, и из-за этой их текучести туалет четвертой оставлял странное впечатление. Исчезающего места. Места, которое отчаянно пытается что-то сообщить, тая при этом и растекаясь. Надписи, кстати невозможно было читать. Я пробовал. Они были вполне разборчивые, но абсолютно бессмысленные. От них падало настроение. Я обычно читал все время одну и ту же, аркой расположившуюся над низкой раковиной. «Не надо выходить за дверь, чтоб знать событий суть. Не надо из окна...» Дальше надпись плыла и разобрать можно было только самый конец – «цзы». Меня жутко раздражало, что я ее то и дело невольно перечитываю, и хотелось потихоньку стереть ее губкой, но я никак не мог решиться. Ведь тогда пришлось бы писать на пустом месте что-то новое.

Я подъехал к раковине с надписью. Край ее был покрыт коркой зубной пасты, а сток забили ошметки пены с мелкими противными волосками. Волоски были черные. Налюбовавшись ими, я отъехал к соседней раковине, тоже низкой. Среди колясников четвертой брюнетов не было. Напрашивался вывод, что кто-то из ходячих не поленился бриться, согнувшись в три погибели, лишь бы порадовать нас своим свинством. Нас – это, скорее всего, меня.

Пришел Македонский.

Принес еще одну чашку с кофе и пепельницу. Поставил их на край раковины рядом с мыльницей. Положил в пепельницу сигарету и зажигалку. Из рукавов свитера на секунду высынулись жутко, в кровь обкусанные пальцы – и тут же спрятались. Рукава у него свисали, как у Пьера, он еще прихватывал их изнутри, чтобы не соскальзывали.

– Спасибо, – сказал я.

– Не за что, – ответил он уже в дверях. И исчез.

Так я выяснил про него сразу две вещи. Что он умеет разговаривать и ест сам себя.

Услужливость Македонского больше пугала, чем радowała. Вспоминались мерзкие фазаны байки о том, как в других группах обращаются с новичками, делая из них рабов. Я никогда в это не верил, но Македонский как будто вылез из этих историй – живой человек из дурацких страшилок. Он вел себя так, что не верить становилось намного труднее.

Что я, в сущности, знал о четвертой? Что со мной они, не считая Лэри, вели себя нормально. И казались слишком симпатичными для тех безобразий, что им приписывались.

Но, может, дело было во мне? Кому нужен слуга-колясник? Что с него взять? Он себя еле успевает обслужить. Другое дело – ходячий. Например, Македонский. Добравшись до этой мысли, я понял, что отравлен Фазанами насмерть. На всю оставшуюся жизнь.

Стало совсем тошно. Я посмотрел в зеркало. На свой опухший нос и посиневшую челюсть. Пощупал синяк, надавив на него посильнее, и, глядя в глаза своему отражению, неожиданно разрыдался.

Меня потрясла легкость, с какой потекли слезы. Как будто я был всегда готовым разреветься плаксой. Я сидел с чашкой кофе в руке, пялился на себя в зеркале, плакал и не мог остановиться. Чтобы собрать все сопли, которые из меня вытекли, пришлось отмотать полметра бумажного полотенца. Высморкавшись, я увидел в зеркале Сфинкса.

Не лицо, он был слишком высок для рассчитанного на колясника зеркала. Но и без выражения его лица было понятно, что сопли он застал.

Оборачиваться не хотелось, и я решил сделать вид, что не заметил его. Отставил чашку и долго умывался. Целую вечность. Когда я наконец вытер лицо, то увидел, что он стоит, где стоял, и понял, что зря понадеялся на его тактичность. Пришлось делать вид, что обнаружил его только сейчас.

Сфинкс был в том же полуразобранном виде, только набросил на плечи рубашку. У рубашки был такой вид, как будто ее стирали в отбеливателе, джинсы выглядели не лучше, а в целом все смотрелось замечательно. Сфинкс был из тех типов, на которых любая рвань выглядит прилично и кажется жутко дорогой, уж не знаю, как у них это получается.

– Больно? – спросил он.

– Немного.

Чтобы не смотреть в его безбровое лицо, я сосредоточился на кроссовках. Стоптанных. С обмотанными вокруг щиколоток шнурками. Мои были намного круче.

– До слез? – уточнил он.

Да. Тактичным он был в самую распоследнюю очередь.

– Нет, конечно, – выдавил я, понимая, до чего наивно было рассчитывать, что он промолчит. Так же наивно, как думать, что он уберется, чтобы не смущать меня. Сейчас начнет расспрашивать, что меня так расстроило.

– Твой кофе остыл, – сказал он.

Я пощупал чашку. Она была еще теплая.

Сфинкс стоял у меня за спиной, и в зеркале его видно не было. Оттого что я его не видел, оттого что он так ни о чем и не спросил, оттого что я не знал, что отвечать, если спросит, а он не спрашивал, от всего этого меня вдруг прорвало. Слова потекли неудержимым потоком, как раньше слезы.

– Я Фазан, – сказал я своему опухшему отражению. – Долбаный Фазан. Не могу спокойно пить кофе, получив по морде. А самое интересное, знаешь, что? Что Лэри меня им не считает. Обзывают Фазаном, а сам в это не верит. Иначе не стал бы бить. Ни один Фазан такого не перенесет. Тут же настучит. Получается, с одной стороны, он ненавидит меня за то, что я Фазан, а с другой, полагается на то, что я не Фазан. Здорово, правда? А вдруг я сейчас возьму и поеду к Акуле?

Я потрогал лицо. Кровоподтек распухал на глазах. К ужину превратится в здоровенный блин на пол-лица. На радость первой.

– Можно замазать тональным кремом, – предложил Сфинкс. – Он в левом шкафчике.

Я разозлился. Он так уверен, что мне хочется спрятать этот синяк. И Лэри тоже. А может, я, наоборот, хочу выставить его напоказ. Рассказать всем, откуда он взялся, и посмотреть, что из этого выйдет. Это были до того фазаны мысли, что я даже слегка испугался.

– Я действительно, наверное, поеду к Акуле, – сказал я из чистого упрямства.

Сфинкс подошел к соседней раковине и сел на нее, нога на ногу, как на стул. Сразу подумалось, что сейчас он измажется зубной пастой, и еще – можно ли выглядеть стильно с пятнами на заду?

— Прямо сейчас? — спросил он.

— Что?

— Прямо сейчас поедешь?

Я промолчал. Никуда я не собирался ехать, но он мог хотя бы сделать вид, что поверил.

И поотговаривать.

— Я пошутил, — сказал я мрачно.

— Зачем? — спросил Сфинкс.

Не дождавшись от меня ответа, он ответил себе сам:

— Ясное дело, ты хотел, чтобы вначале тебя отговорили. А дальше? Может, ты хотел меня припугнуть? Но почему меня, а не Лэри? А может, ты надеешься заручиться моей поддержкой на будущее? Что-нибудь вроде обещания оберегать тебя от Лэри. Извини, но такого обещания я дать не могу. Я тебе не нянька.

Я почувствовал, что горю от пяток до кончиков ушей. В пересказе Сфинкса то, как я себя вел, выглядело невозможно жалко. И слишком похоже на правду. Только я не думал об этом такими словами.

— Хватит, — попросил я. — Довольно.

Сфинкс заморгал.

— Погоди, — сказал он. — Я не могу ничего обещать, но могу найти сейчас Лэри и рассказать, какого труда стоило отговорить тебя от поездки к Акуле. Он мне поверит и больше тебя не тронет. Это все, что я могу сделать. Если такой вариант тебя устраивает.

— Устраивает, — поспешил согласился я. — Он меня устраивает.

Я чуть не признался, что на самом деле просто хотел его позлить, но вовремя прикусил язык. Цапнул сигарету, оставленную Македонским, щелкнул зажигалкой и так затянулся, что чуть глаза не выскочили. Побитое существо в зеркале отразило мой жадный жест и стало неловко за него и за себя.

— Скажи, пожалуйста, Курильщик, почему ты не сопротивляешься, когда тебя бьют?

Я поперхнулся дымом:

— Кто, я?

— Ну да.

Кран за спиной у Сфинкса подтекал, и подол рубашки промок. Светло-бирюзовая рубашка сделала его глаза еще зеленее. Обычно очень прямой, он сидел сгорбившись и смотрел этими своими глазами водяного так, будто хотел вытащить из меня всю душу. Выскрести ее и досконально обследовать.

— Почему ты позволяешь себя бить?

Вроде бы он не издевался. Хотя сказанное звучало издевкой. Я представил, как я сопротивляюсь. Как визжу и отмахиваюсь от Лэри. Да он просто умрет от счастья. Неужели Сфинкс этого не понимает? Или он куда лучшего мнения обо мне, чем я сам.

— По-твоему, это что-то даст?

— Больше, чем ты думаешь.

— Ага. Лэри так развеселится, что ослабеет и не сможет махать кулаками.

— Или так удивится, что перестанет считать тебя Фазаном.

Кажется, он верил тому, что говорил. Я даже не смог рассердиться по-настоящему.

— Брось, Сфинкс, — сказал я. — Это просто смешно. Что я, по-твоему, должен успеть сделать? Оцарапать ему колено?

— Да что угодно. Даже Толстый может укусить, когда его обзывают. А у тебя в руках была чашка с горячим кофе. Ты, кажется, даже обжегся им, когда падал.

— Я должен был облить его своим кофе?

Сфинкс прикрыл глаза.

— Лучше так, чем обжигаться самому.

— Ясно, — сказал я, с силой вдавив окурок в пепельницу. Она перевернулась, и я едва успел ее подхватить. — Вам не хватает развлечений. Вы бы с удовольствием понаблюдали, как я молочу Лэри кулаками, кусаю его за палец и расплескиваю кофе по всей кровати.

Может, Табаки даже сложил бы об этом песню. Спасибо за совет, Сфинкс! Прямо не знаю, как тебя за него благодарить!

Сфинкс вдруг соскочил со своего настенса, быстро подошел и уставился на меня в зеркало. Для этого ему пришлось нагнуться, как будто он заглядывал к кому-то в низкое окошко.

— Пожалуйста, — сказал он этому кому-то. — Не стоит благодарности. Этот же совет мог бы дать тебе сам Лэри.

Я так перетрусили, когда он вдруг сорвался с места, что проглотил все ругательства, вертевшиеся на языке.

— Точно, — согласился я. — Ему бы это ничем не угрожало.

Сфинкс кивнул.

— И дало бы наконец возможность оставить тебя в покое. Знаешь, почему Логи так цепляются к Фазанам? Потому что они никогда не сопротивляются. Ни по-крупному, ни в мелочах. Покорно зажмуриваются и переворачиваются кверху колесами. И пока ты будешь вести себя так же, Лэри не перестанет видеть в тебе Фазана.

— Ты же сказал, что припугнешь его.

Сфинкс продолжал гипнотизировать мое отражение. Которое выглядело чем дальше, тем хуже.

— Сказал. И припугну. Мне не трудно.

У меня голова шла кругом от его повадок. Казалось, что нас тут трое.

— Хватит разговаривать с зеркалом, Сфинкс! — не выдержал я. — Я там какой-то неправильный!

— Ага, ты тоже заметил?

Он наконец обернулся, рассеянно, как будто действительно говорил не со мной, а я его отвлек. Потом поймал меня в фокус, и это оказалось еще неприятнее. Даже голова разболелась.

— Ладно, — сказал он. — Забудем того тебя, который живет в зеркале.

— По-твоему, это не я?

— Ты. Но не совсем. Это ты, искаженный собственным восприятием. В зеркалах мы все хуже, чем на самом деле, не замечал?

— Нет. Мне и в голову не приходило.

Я вдруг сообразил, какую мы порем чушь:

— Хватит валять дурака, Сфинкс. Это не смешно.

Сфинкс засмеялся.

— Смешно, — сказал он. — Честное слово, смешно. Как только ты начинаешь что-то понимать, первая твоя реакция — вытряхнуть из себя это понимание.

— Я ничего никуда не вытряхивал.

— Посмотри туда, — Сфинкс кивнул на зеркало. — Что ты видишь?

— Жалкого урода в синяках, — отозвался я мрачно. — Что еще я могу там увидеть?

— Тебе пока лучше избегать зеркал, Курильщик. По крайней мере, пока не перестанешь себя жалеть. Поговори-ка об этом с Лордом. Он вообще никогда не смотрится в зеркало.

— Почему? — изумился я. — Если бы я видел в зеркале то, что видит он...

— Откуда ты знаешь, что он там видит?

Я попробовал представить себя Лордом. Смотрящимся в зеркало. Это угрожало мощнейшим приступом нарциссизма.

— Он видит что-то вроде молодого Боуи. Только красивее. Будь я похож на Боуи, я бы...

— ...стонал, что похож на престарелую Марлен Дитрих и мечтал походить на Тайсона, — подсказал Сфинкс. — Цитирую дословно, так что не считай это преувеличением. То, что видит в зеркале Лорд, вовсе не похоже на то, что, глядя на него, видишь ты. И это лишь один пример того, как странно иногда ведут себя отражения.

— Ага, — вяло кивнул я. — Понятно.

— Да? — удивился Сфинкс. — А вот мне не очень. Хотя я всегда этим интересовался.

Мне вдруг захотелось кое о чем его спросить. Этот вопрос давно меня мучил.

— Скажи, Сфинкс, а Македонский... почему он такой? Вы отдали его на съеденье Лэри? Или он таким и был с самого начала?

— Каким — таким? — поморщился Сфинкс.

— Ну таким. Услужливым.

— А-а, и ты туда же, — протянул он. — Что мы с ним такого ужасного сотворили? Ничего.

Но ты мне не веришь, так что я зря тебе это сказал.

Я и не поверил. Абсолютно.

— Почему он всегда за всеми убирает? Все всем подает? Ему это нравится?

— Не знаю почему. Догадываюсь, но не знаю точно. Одно могу сказать — это не наша заслуга.

Должно быть, выражение моего лица было очень красноречиво.

Сфинкс вздохнул.

— Он видит в этом свое предназначение. Так мне кажется. Его предыдущая работа была намного тяжелее. Он работал ангелом, и это его достало. Так что теперь он изо всех сил старается доказать свою полезность в любом другом качестве.

— Кем-кем он работал?

Меньше всего я ожидал таких дурачеств от Сфингса. Как-то само собой разумелось, что это область Табаки. Но у Сфингса был свой стиль. Он не стал развивать тему.

— Ты расслышал, — сказал он. — Я не буду повторять.

— Ага, — пробормотал я. — Ладно.

— Приглядись. И увидишь, что он всегда старается опередить наши просьбы. Сделать что-то раньше, чем его попросят. Он вообще не любит, когда с ним заговаривают. Это его овеществляет.

— Как-как? — не понял я.

— Не лю-бит, — повторил Сфинкс по слогам. — Когда его замечают. Заговаривают. О чем-то спрашивают, обращают на него внимание. Его от этого коробят.

— Откуда ты знаешь? Он сам сказал?

— Нет. Просто я живу рядом.

Сфинкс нагнулся и почесал лодыжку протезом, как палкой.

— Он любит мед и греческие орехи. Газировку, бродячих собак, полосатые тенты, круглые камни, поношенную одежду, кофе без сахара, телескопы и подушку на лице, когда спит. Не любит, когда ему смотрят в глаза или на руки, когда дует сильный ветер и облетает тополиный пух, не выносит одежду белого цвета, лимоны и запах ромашек. И все это видно любому, кто даст себе труд приглядеться.

Я не стал говорить, что живу в четвертой слишком недолго, чтобы высмотреть в самом скрытном человеке в Доме такие подробности. Вместо этого я сказал:

— Знаешь, Сфинкс, не надо про меня ничего говорить Лэри. Я передумал.

Он вдруг опять нагнулся к зеркалу:

— Почему?

— Это ведь ты предложил. А я не хочу, чтобы он считал меня стукачом.

— Да?

Сфинкс как будто не доверял моему отражению. Вид у которого был действительно неприятный. Затаенno стукаческий. Растирзанный и подленький. При этом сам я ничего такого не ощущал.

— Да, — сказал я, все сильнее нервничая. — Не хочу быть стукачом ни в шутку ни всерьез. И ты обещал забыть про мое отражение!

Сфинкс посмотрел через плечо. Словно сравнивая.

— Да. Но меня притягивают метаморфозы. Извини. Больше не буду. Значит, Лэри ничего не говорить? От твоих гарантий останется пшик.

— Ну и черт с ними!

Я вздохнул с облегчением. Я был почти уверен, что сделал все правильно. Причем в самый последний момент, когда еще чуть-чуть – и было бы поздно. Это было как-то связано с зазеркальным Курильщиком – очень неприятным человеком. Может, даже давним и заслуженным стукачом. Вообще наше со Сфинксом общение в туалетах потихоньку становилось традицией. Я и он в окружении раковин и писсуаров. Разговор – а потом все меняется, переворачивается с ног на голову. Почему-то мне казалось, что в этот раз такого переворота не будет. Что мне удалось его избежать.

Сфинкс рассматривал свои джинсы, наконец-то озабочившись их состоянием.

– Лэри все же не мешало бы попугать. Всю раковину вымазал...

– Откуда ты знаешь, что это он?

– Кто же еще? Кнопка в постели, жвачка в ботинке, паста на раковине – его масштаб.

Табаки так не работает. После шуток Шакала пол-Дома лежит в руинах. Он по мелочам не разменивается. Так что это Лэри. В сущности, как видишь, он еще дитя.

Я рассмеялся:

– Дитя, которое бреется.

– Что тебя удивляет? Довольно распространенное явление.

Он нагнулся и опять, морщась, почесал ногу.

– Да что ты все чешешься? – не выдержал я.

– Блохи. Явно они. До тебя еще не добрались? Странно.

– Блохи? – растерялся я. – От Нанетты?

– Если бы от Нанетты. Была бы надежда их вывести. А то Слепой притаскивает. Не травить же вожака морилкой. И блохи – еще не самое страшное. Иногда он приносит на себе клещей. Посреди зимы. И не одного, а нескольких видов. Ты когда-нибудь снимал с себя клеща? Главное – не дергать, чтобы не оставить головку.

– Сфинкс, ты шутишь? – не выдержал я.

– Шучу, – сказал он серьезно. – Я вообще шутник, ты не заметил?

– Почему бы просто не сказать человеку, чтобы он заткнулся, если его вопросы раздражают? Зачем изощряться?

Сфинкс не ответил. Вздохнул, еще раз почесался и ушел. В мокрой по пояс рубашке, с пятнами зубной пасты на заду. Паста не просматривалась, а мокрая рубашка только придала ему крутизны. Так что дело было не в одежде, а в Сфинксе. В его самоощущении.

Я уставился на свое отражение.

Зазеркальный Курильщик выглядел чуть лучше, но все равно казался подловатым. Я приосанился, и он стал похож на придурка. С самоощущением дела у меня обстояли хреново.

– Ладно, – сказал я. – В конце концов Лорд себе в зеркале тоже не нравится.

Я допил окончательно остывший кофе и поехал в спальню.

Дом Интермедиа

Дом – это стены и стены осыпающейся штукатурки... Узкие переходы лестничных маршей. Мошка, танцующая под балконными фонарями. Розовые рассветы сквозь марлевые занавески. Мел и замусоренные парты. Солнце, тающее в красной пыли дворового прямоугольника. Блохастые собаки, дремлющие под скамейками. Ржавые трубы, перекрещающиеся и свивающиеся в спирали под треснувшей кожей стен. Неровные ряды детских ботинок со скошенными носами, выстроенные вдоль кроватей. Дом – это мальчик, убегающий в пустоту коридоров. Засыпающий на уроках, пятнистый от синяков, состоящий из множества кличек. Головоног и Скакун. Кузнецик и Хвост. Хвост Слепого, не отстающий от него ни на шаг, наступающий на его тень. К входящему Дом поворачивается острым углом. Это угол, об который разбиваешься до крови. Потом можно войти.

Их было тринадцать. Их называли «безобразием», «сворой» и «молокососами». Они

были категорически не согласны с последним прозвищем. Сами они называли себя стаей. Как у всякой стаи, у них был вожак.

Вожаку уже исполнилось десять. Он носил кличку Спортсмен, был белокур, розовощек, голубоглаз, на голову выше остальных, если не считать Слона. Он спал на взрослой кровати, и у него не было ни видимых увечий, ни тайных болезней, ни прыщей, ни комплексов, ни страсти к коллекционированию – ничего из того, что было у каждого из них. Для Дома он был слишком хорош.

Хромых близнецов Рекса и Макса называли Сиамцами, отдельных кличек у них не было. Длиннолицые, костлявые и желтоглазые, с тремя ногами на двоих, одинаковые, как две половинки лимона, неразлучные и неразличимые – две вороватые тени с карманами, набитыми ключами и отмычками. Проникающие в любую дверь. Уносящие все, что лежит без присмотра.

Лохматый Горбач любил военные марши и мечтал стать пиратом. Летом он чернел, превращаясь в сутулого вороненка, и находил на себе насекомых. Собаки чуяли его нежность издалека и сбегались принять ее. От его рук пахло псиной, а в карманах он прятал хлеб и колбасу для четвероногих друзей.

Зануда и Плакса были неразлучны, как Сиамцы, но внешне отличались. Плакса с бледными глазами навыкате смахивал на нервного богомола. Глубоко посаженные глазки Зануды делали его похожим на крысенка. Оба страдали дислексией и увлекались коллекционированием. Они собирали гайки, болты и шурупы, перочинные ножи и этикетки от бутылок, а вершиной их достижений была уникальная коллекция отпечатков пальцев.

Кролик был альбиносом, носил привязанные к ушам темные очки и тяжелые ортопедические ботинки. Он всегда знал, какая река где течет и куда впадает. Он знал множество городов с непроизносимыми названиями, мог перечислить их главные улицы и сообщить, как попасть с одной на другую. Он знал, где что производят и как это отражается на бюджете страны-производителя. Знания Кролика ценили многие, но мало кто его за них уважал. Передние зубы выдавались вперед, делая его похожим на грызуна. Им он и был обязан своей кличкой.

Красавица – невозможно красивый черноглазый мальчик – стыдился своих рук и ног и всегда молчал. Руки и ноги его не слушались. Ноги несли не туда, куда он хотел идти, руки роняли то, что он хотел удержать. Он часто падал и был покрыт синяками, которых тоже стыдился.

Круглоголовый Пылесос был помешан на сокровищах. Он находил их повсюду. То, что было сокровищем для Пылесоса, другие назвали бы мусором. За девять лет жизни Пылесос скопил много всего, заполнив двенадцать тайников и один чемодан, и теперь, помимо поисков сокровищ, занимался их ежедневным переучетом.

Кудрявый Пышка был толст и нахален, любил наряжаться и придумывать себе красивые одеяния. Гардероб его занимал много места и нервировал окружающих. Нос Пышки терялся в щеках, а щеки – в плечах. Воспитательницы его обожали и называли Купидончиком.

Крючок был согнут зловредной болезнью и ходил боком. Голову его поддерживал гипсовый ворот. Это не мешало Крючку быстро бегать. Крючок коллекционировал бабочек и летом, в разгар охотничьего сезона, не расставался с сачком и банкой с марлевой крышкой.

Слон был огромен, застенчив и робок. Он носил резиновые игрушки в карманах комбинезона и плакал, если его оставляли одного. На голове Слона рос белый пух. Он считался в стае самым маленьким, хотя мало кто доставал макушкой до его подбородка.

Пузырь, по общему мнению, был не совсем нормален. Всегда и всюду на роликах. Уши его ловили ветер, полнота спасала при столкновениях. Сам он называл себя Вольным Вихрем и боялся только одного – порчи роликов. Он пережил уже семь пар и всякий раз горько плакал, расставаясь с очередной. Под кроватью у него хранилась коробка с разбитыми колесиками старых друзей.

Стая Спортсмена занимала две спальни в самом конце коридора. Ту, что была побольше, называли Хламовником. Хламовник редко посещался воспитателями и редко прибирался. Сокровища Пылесоса хранились в неподходящих местах и вываливались, стоило неудачно к чему-нибудь прислониться. Игрушки Слона, замусоленные его зубами, собирали пыль под кроватями. Колющие-режущие коллекции Зануды и Плаксы гнездились на подоконнике. Коллекции этикеток украшали стены, чередуясь с засушенными бабочками Крючка. Одежда Пышки не умещалась в общем шкафу, расползаясь по стульям и спинкам кроватей. Под кроватью Горбача жил дурно пахнущий хомяк. Над кроватью Сиамца Макса росло непонятное растение в подвесном горшке. В шкафу хранилось самодельное оружие, иногда выпадавшее оттуда с деревянным стуком.

Хомяка выпускали погулять. Растение протекало коричневой водой. Этикетки падали со стен и исчезали в тайниках Пылесоса. Никакие уборки не могли спасти Хламовник от захламления.

Стая была стаей, пока напоминала о себе окружающим. Разбитыми стеклами, надписями на стенах, мышами в учительских столах, курением в туалетах. Дурная слава делала их счастливыми и обособляла от главных врагов – колясников. Но самым любимым развлечением стаи были новички. Мамины детки, пахнущие Наружностью, плаксы и нытики, недостойные кличек. С новичками можно было развлекаться множеством способов. Можно было пугать их пауками и гусеницами. Можно было давить их подушками и засовывать в шкафы. Выскакивать на них из-за углов и кричать в уши. Подсыпать им в обед перец и соду. Приклеивать их одежду к стульям и отрезать от нее пуговицы. Можно было их просто лупить.

Ничуть не хуже можно было развлекаться с незрячими, заступающимися за новичков. Натянутые на дороге веревки, переставленные тумбочки и кровати, надписи на одежде. Двери, заблокированные стульями; кнопки, рассыпанные под ногами, и надежно спрятанные кеды; пропадающие вещи, и другие, появляющиеся взамен пропавших. Много чего можно придумать, если умеешь думать о таких вещах. Стая умела.

– Вот они! Бей! Ату их! – визжали мальчишки, проносясь по коридору пестрой лавиной. Глаза их сверкали охотничим азартом, потные ладони сжимались в кулаки.

– Ура! – завопили они, загоняя свои жертвы в угол.

Жертвы – Кузнецик и Слепой – приготовились к бою. С равным успехом они могли к нему не готовиться. Визжащая лавина молотящих рук и пинающих ног нахлынула на них, смела, протащила по полу и, потрепав, откатилась. Охотники убегали, размахивая трофейными ключьями одежды и оглашая воздух пронзительным свистом. Хромой Сиамец не поспевал за остальными. Когда топот стих в глубине коридора, Слепой встал и отряхнулся.

– Мда, – сказал он. – Численное преимущество по-прежнему на их стороне.

Уткнувшись лицом в колени Кузнецик промолчал. Слепой присел рядом с ним.

– Перестань, – попросил он. – Сегодня их было уже меньше, ты не заметил? Удалось кому-нибудь врезать?

– Удалось, – мрачно ответил Кузнецик, не поднимая головы. – Но толку от этого все равно никакого.

– Это тебе так кажется, – Слепой пощупал опухшую щеку и поморщился. – Толк есть, – сказал он уверенно. – Сегодня с ними не было Макса, а это кое о чем говорит.

Кузнецик с любопытством взглянул на него:

– Откуда ты знаешь, которого из них не было? Они же одинаковые.

– Они одинаковые – голоса разные, – объяснил Слепой. – Макс, наверное, струсил из-за своей ноги. Теперь их на одного человека меньше, разве этого мало?

Кузнецик вздохнул:

– Все равно их слишком много на нас двоих. Мы их никогда не одолеем.

Слепой пренебрежительно фыркнул:

— Никогда — это слишком долгое слово. Ты их любишь, такие дурацкие слова. Лучше думай о том, что мы сильнее. Просто их больше. Когда-нибудь мы вырастем, и они пожалеют, что нас доставали.

— Если мы доживем до этого времени, — мрачно добавил Кузнечик. — А если и дальше все будет, как сейчас, мы до него не доживем.

— Ты пессимист, — грустно сказал Слепой.

Они сидели спина к спине и молчали. Зажглась лампочка под потолком. Одна, потом вторая. Ухо Кузнечика горело.

— Потрогай, пожалуйста, мое ухо, — попросил он. — Оно жжется.

Слепой нащупал его плечи, шею и прижал ладонь к уху. Ладонь была холодная, уху стало приятно.

— Придумай что-нибудь, Слепой, — сказал Кузнечик. — Пока мы еще живы.

— Я постараюсь.

Слепой держал его ухо и думал. О своем обещании Лосю. «*Обещай мне за ним присматривать*».

Все лампочки, сколько их было, зажглись разом. Коридор осветился.

В спальне под руководством Спортсмена мальчишки устанавливали на приоткрытую дверь таз с водой.

— Свалится, — предупредил Пышка. — Вам же на головы и свалится. Или еще кто-нибудь зайдет до них. Так всегда бывает.

Пышка сидел на кровати и нянчил ушибленный в драке палец. Палец был зашиблен об кого-то из своих, поэтому настроение у Пышки было вдвойне плохим.

— Не свалится, — отвечал Спортсмен. — Все сделано на совесть.

Зануда соскочил со стула, опасливо покосившись на таз.

— Классная идея, люди! Они входят — Слепому — бамс! — по макушке! Пока он в отключке, мы мамину детку хватать — и в унитаз башкой! — Зануда захихикал.

Плакса, оторвавшись от чистки ножей, визгливо поддержал его с подоконника.

Они легли, каждый на свою кровать, и подготовились к долгому ожиданию. Таз угрожающе блестел синим боком, нависая над пустым пространством. Всем было весело.

Всем, кроме Горбача. Он был против таза, как до того был против дохлой крысы в постели новичка и собачьей какашки в ботинке Слепого. Горбач был гуманистом. Но его никто не слушал.

— Пойдем, — сказал Слепой, поднимаясь с пола. — А то заснешь прямо здесь. Я кое-что придумал, но не знаю, получится ли.

Кузнечик нехотя встал, прижимая плечом больное ухо. Придумки Слепого — он это точно знал — мало для кого годились.

— Если ты придумал что-то вроде того, что мы сейчас пойдем и всех их измордуем, то я лучше здесь посплю.

Слепой не ответил. Он шел в сторону их спальни. Ворча и негодуя, Кузнечик поплелся за ним.

— Сигарету бы мне сейчас.

— Рано тебе еще курить, — не поворачивая головы, отозвался Слепой.

— А как долго колотят новичков? — Кузнечик догнал его и зашагал рядом. — Десять раз или сто? Месяц или два?

— Один или два раза.

Кузнечик споткнулся от возмущения.

— Один или два? Тогда почему меня достают уже целую вечность? Я что — особенный?

Слепой остановился:

— Конечно. Ты ведь не один. С тобой я, а это уже война. Мы против них, они против нас. Разве ты еще не понял?

— То есть если бы не было тебя...

— Ты бы давно стал для них своим.

Слепой не шутил, потому что он не шутил никогда. Кузнецик поискал на его лице следы улыбки, но Слепой был серьезен.

— Так это все из-за тебя? — упавшим голосом спросил Кузнецик.

— Ага. А ты еще не понял? — Слепой отвернулся и пошел дальше.

Кузнецик медленно брел за ним, чувствуя себя самым несчастным человеком в Доме. Виноват в этом был Лось. Добрейший и мудрейший Лось, который подарил ему друга и защитника, а заодно кучу врагов и нескончаемую войну. Никогда не стать ему своим среди младших, пока рядом Слепой, а Слепой всегда будет рядом, потому что так захотел Лось. И их всегда будут бить и ненавидеть. Хотелось плакать и ругаться, но он молчал, стараясь не отставать от Слепого. Потому что, если сказать, что виноват Лось, Слепой озвеет, и все станет еще хуже.

Слепой остановился перед дверью десятой спальни. Спальни старших. Дверь была выкрашена в черный, с белыми и красными надписями, с каплями краски и брызгами, сделанными специально для красоты.

Слепой стоял прислушиваясь. Кузнецик перечитывал надписи, которые и так знал наизусть:

«Каждый поет свою песню».

«Весна – страшное время перемен».

«Логово Сиреневого Крысун».

«Будь осторожен. Я есмь Кусливая Собака».

«Не стучать. Не входить».

В Доме дверь в чужую спальню – не всегда дверь. Для некоторых это глухая стена. Эта дверь была стеной, поэтому, когда Слепой постучал в нее, Кузнецик испуганно ахнул.

— Ты что? Нам сюда нельзя!

Слепой, не дожидаясь приглашения, вошел.

Кузнецик сел перед закрытой дверью на корточки. Он догадывался, зачем Слепому понадобился Седой, и боялся об этом думать.

Через некоторое время дверь отворилась. Надписи уехали и появились опять. Кузнецик встал. Слепой прислонился к двери, таинственно улыбаясь. Под полуприкрытymi веками влажно плавали невидящие зрачки.

— У тебя будет амулет, — сказал он. — Только надо немножко подождать.

Сердце Кузнецика подпрыгнуло и провалилось куда-то в глубину живота. Коленки задрожали.

— Спасибо, — прошептал он еле слышно. — Спасибо тебе.

В темной спальне горел ночник, повернутый колпачком к стене. Седой склонился над жестянной коробкой с откинутой крышкой. Талисманы от сглаза таращились на него стеклянными зрачками. Камешки с дырками, пуговицы с монограммами, потемневшие монеты и медали, собачьи и кошачьи клыки, иероглифы на крошечных, с ноготь, осколках, семена неведомых растений, нанизанные на нитки. Сокровища, при виде которых малолетний Пылесос потерял бы рассудок. Там было много всего, но Седой не мог выбрать. Он закрыл глаза и нашупал наугад.

Крошечный котенок из пористого камня. С человеческим лицом. Исцарапанный от долгого хранения в коробке, от частого соприкосновения с другими сокровищами. Седой повертел его в руках и, хитро улыбнувшись, положил на кусочек замши.

Добавил корешок, похожий на крысиный хвостик, и крошку бирюзы. Полюбовался своим произведением, сильно затянулся и аккуратно стряхнул в середину композиции пепел. Потом сложил замшу в маленький мешочек, стянул его края и зашил их нитками.

— Надеюсь, ты принесешь своему желторотому хозяину счастье, — с сомнением сказал он, взвесив на ладони новенький амулет, и, отложив его, занялся поисками шнурка.

Кузнецик застенчиво мялся в дверях, не решаясь войти. Старшеклассник сидел на полосатом матрасе, лежавшем на полу рядом с большим аквариумом, и курил. Его волосы были белыми, лицо почти не отличалось цветом от волос, а пальцы — от сигареты. Только губы и глаза на этом лице были живыми и имели цвет. Розово-виные глаза в белых ресницах.

— Так это ты хочешь получить амулет? — спросил Седой. — Подойди. Кузнецик подошел настороженный, одеревеневший от страха, хотя и знал, что Седой не вскочит и не набросится на него (даже если такая мысль придет ему в голову), потому что не может этого сделать.

Аквариум светился зеленым, в нем плавали только две рыбки, похожие на черные треугольники. На циновке перед матрасом стояли стаканы с липким осадком на донышках.

— Нагнись, — сказал Седой.

Кузнецик присел рядом, и Седой надел ему на шею амулет. Маленький мешочек из серой замши, расшитый белыми нитками.

— У тебя очень упрямый друг, — сказал Седой. — Упрямый и настырный. Оба эти качества похвальны, но действуют на нервы окружающим. Я не делаю амулеты для малолеток. Тебе повезло. Ты будешь исключением.

Скосив глаза, Кузнецик рассматривал амулет.

— А что здесь? — спросил он шепотом.

— Твоя сила.

Седой спрятал мешочек ему под майку.

— Так лучше, — объяснил он. — Не бросается в глаза. Это сила и удача, — повторил он. — Почти столько же, сколько я дал в свое время Черепу. Будь осторожен теперь. Постарайся, чтобы его никто не видел.

Кузнецик заморгал, оглушенный словами Седого.

— Ой! — опустив голову, он с благоговейным страхом посмотрел на то, что выглядело, как безобидный бугорок под майкой. — Это слишком много, — прошептал он.

Седой засмеялся.

— Много не бывает. И потом, она проявится не сразу. Не думай, пожалуйста, что выйдешь отсюда вторым Черепом. Всему свое время.

— Спасибо, — сказал Кузнецик.

Следовало сказать еще что-нибудь, но он не знал что. Он плохо разбирался в таких вещах. Губы сами растягивались в улыбку. Глупую и счастливую. Он смотрел в пол, улыбаясь от уха до уха, и тихо повторял:

— Спасибо, спасибо...

Мысленно, пальцами Слепого, он уже вспарывал амулет. Что там? Неужели еще один обезьяний черепок? Или что-то еще удивительное?

Седой как будто прочел его мысли.

— Амулет нельзя открывать. Он потеряет всю свою силу. Не раньше чем через два года ты можешь это сделать. Но не раньше. Не говори потом, что я тебя не предупреждал.

Кузнецик перестал улыбаться:

— Я ни за что этого не сделаю.

— Тогда беги, — Седой бросил окурок в стакан с лимонадом и посмотрел на часы. — Я и так потратил на тебя уйму времени.

Кузнечик выбежал, с удовольствием продемонстрировав Седому свое умение открывать дверь ногой.

Слепой сидел у стены на корточках, но, как только он вышел, сразу встал.

– Ну?

– Он у меня, – шепотом доложил Кузнечик, выпятив грудь. – Можешь потрогать. Под майкой.

Пальцы Слепого нырнули под майку и нашупали мешочек. Кузнечик ежился от щекотки и хихикал.

– Стой смирно! – прикрикнул на него Слепой и продолжил изучение амулета.

– Там что-то твердое из камня, – сказал он, отпуская мешочек. – И еще что-то засохшее, вроде травы. Замша слишком плотная. Ничего не разберешь.

Кузнечик приплясывал на месте от нетерпения. Ему ужасно хотелось рассказать о том, что прячется у него под майкой, но он не решался. Не стоит хвастать такими непроверяемыми вещами. Но *Великая Сила на шнурке* не давала покоя. Надо было куда-то бежать и что-то делать, чтобы прогнать этот зуд в ногах, эту прыгучесть и желание взлететь.

– Давай поднимемся на дальний гараж? – предложил он. – На крышу, под луну, на то наше место! Ведь сегодня великая ночь! Сегодня нельзя спать!

Слепой пожал плечами. Ночь была самая обыкновенная, и ему больше хотелось спать, чем лезть на гараж, но он понимал, что Кузнечик слишком взбудоражен и сейчас ему не до сна. То, что сказал Седой, надо было переварить до встречи со стаей. Седой – молодец. Слепой от всего сердца восхитился, подслушивая их разговор под дверью. Никто из старших бы так не сумел.

– Хорошо, – сказал он. – Пошли на крышу.

Кузнечик свистнул и скачками понесся по коридору.

Великая Сила стучала под майкой, как второе сердце, подбрасывая его над землей. Паркет ловил его и отталкивал, как будто был сделан из резины. Кузнечик вопил и визжал от счастья, приплясывая на ходу. На всем протяжении его пути распахивались двери спален, и оттуда доносилось возмущенное шиканье.

Слепой догнал его уже в конце коридора, и они пошли рядом – двое очень разных мальчишек в рваных зеленых майках.

В шестой спальне их проклинали, зевали и боролись со сном.

– Не м-могу больше, – скулил Плакса, стягивая носки. – Уп-п-пуши т-такое зрелище!

Носок полетел через всю комнату и повис на настольной лампе.

– Сколько можно? Уже ночь!

– Терпи, – процедил Спортсмен со своей кровати. – Столько терпел, потерпи еще чуток.

Сиамец Рекс двумя пальцами придерживал веки в раскрытом виде. Его брат сладко спал, обняв подушку.

Спортсмен оглядел изнемогшую стаю:

– Слабаки, – прошептал он. – Какие же вы все слабаки...

Пышка зевнул, захлопнул тетрадь с наклейками спортивных автомобилей и спрятал ее под матрас.

– Вы как хотите, а я буду спать, – заявил он, отворачиваясь к стене. – Все равно эта штука на них свалится, даже если я этого не увижу.

– Предатель, – проворчал Сиамец Рекс.

– Сам, – ответил Пышка, не оборачиваясь.

Спортсмен вздохнул и пересчитал оставшихся на посту.

Четыре понурые фигуры в зеленых майках болтали ногами, каждая на своей кровати. Толстый Слон в углу сосал палец. Поймав на себе взгляд Спортсмена, он вытащил палец изо рта и застенчиво улыбнулся:

– Еще нельзя пойти сделать пи-пи? – спросил он.

— Черт бы вас всех подрал! — не выдержал Спортсмен. — Не можете и часу вытерпеть без туалета! Одному — писать, другому — ноги мыть, третьему — цветок поливать. Какая вы стая? Вы — сборище древних сонь! Вам бы только жрать, дрыхнуть и писать вовремя!

Слон налился красным, завздыхал и заплакал. Сиамец Макс тут же проснулся. Слон рыдал. Макс посмотрел на брата. Рекс соскочил с кровати, прохромал к Слону и обнял его пухлые плечи:

— Ну-ну, малыш... не реви. Все будет хорошо.

— Я хочу пи-пи, — прорыдал Слон. — А он не пускает.

— Сейчас пустит, — пообещал Сиамец, грозно кося на Спортсмена желтым глазом, — сейчас он так пустит, как ему и не снилось!

Горбач, тихо лежавший на верхней полке, вдруг вскочил.

— Надоело! — закричал он, запуская в стоявший на двери таз ботинком.

С потоками воды и жестяным грохотом таз обрушился на пол. От испуга Слон замолчал. Плакса истерично хихикнул и поджал босые ноги. По паркету растекалось озеро.

Во дворе

Горбач играл на флейте, двор слушал. Он играл совсем тихо, для себя. Ветер кругами носил листья, они останавливались, попадая в лужи, там кончался их танец, и кончалось все. Размокнут и превратятся в грязь. Как и люди.

Тише, ещетише... Тонкие пальцы бегают по дыркам, и ветер швыряет листья в лицо, а монетки в заднем кармане врезаются в тело, и мерзнут голые лодыжки, покрываясь гусиной кожей. Хорошо, когда есть кусок поющего дерева. Успокаивающий, убаюкивающий, но только когда ты сам этого захочешь.

Лист застрял у его ноги. Потом еще один. Если много часов сидеть неподвижно, природа включит тебя в свой круговорот, как если бы ты был деревом. Листья будут прилипать к твоим корням, птицы — садиться на ветки и пачкать за ворот, дождь вымоет в тебе бороздки, ветер закидает песком. Он представил себя деревочеловеком и засмеялся. Половинкой лица. Красный свитер с заплатками на локтях пропускал холод сквозь облысевшую шерсть. И кололся. Под ним не было майки — это наказание Горбач придумал себе сам. За все свои проступки, настоящие и вымышенные, он наказывал себя сам. И очень редко отменял наказания. Он был суров к своей коже, к своим рукам и ногам, к своим страхам и фантазиям. Колючий свитер искупал позор страха перед ночью. Страха, который заставлял его укутываться в одеяло с головой, не оставляя ни малейшей лазейки для *кого-то, кто приходит в темноте*. Страха, который не давал ему пить перед сном, чтобы потом не мучиться, борясь с желанием пойти в туалет. Страха, о котором не знал никто, потому что его носитель спал на верхней койке, и снизу его не было видно.

И все равно он стыдился его. Боролся с ним каждую ночь, проигрывал и наказывал себя за проигрыш. Так он поступал всегда, сколько себя помнил. Это была игра, в которую он играл сам с собой, завоевывая каждую ступень взросления долгими истязаниями, которым подвергал свое тело. Простаивая на коленях в холодных уборных, отсчитывая себе щелчки, приседая по сто раз, отказываясь от десерта. И все его победы пахли поражением. Побеждая, он побеждал лишь часть себя, внутри оставаясь прежним.

Он боролся с застенчивостью — грубыми шутками, с нелюбовью к дракам — тем, что первым в них ввязывался, со страхом перед смертью — мыслями о ней. Но все это — забитое, загнанное внутрь — жило в нем и дышало его воздухом. Он был застенчив и груб, тих и шумен, он скрывал свои достоинства и выставлял недостатки, он прятался под одеяло и молился перед сном: «Боже, не дай мне умереть!» — и рисковал, бросаясь на заведомо сильного.

У него были стихи, зашифрованные на обоях рядом с подушкой, он соскребал их, когда надоедали. У него была флейта — подарок хорошего человека — он прятал ее в щель между матрасом и стеной. У него была ворона, он воровал для нее еду на кухне. У него были мотки

шерсти, он вязал из них красивые свитера.

Он родился шестипальм и горбатым, уродливым, как обезьяний детеныш. В десять лет он был угрюмым и большегордым, с вечно расквашенными губами, с огромными лапами, которые рушили все вокруг. В семнадцать стал тоньше,тише и спокойнее. Лицо его было лицом взрослого, брови срастались над переносицей, густая грива цвета вороных перьев росла вширь, как колючий куст. Он был равнодушен к еде и неряшлив в одежде, носил под ногтями траур и подолгу не менял носков. Он стеснялся своего горба и угрей на носу, стеснялся, что еще не бреется, и курил трубку, чтобы выглядеть старше. Втайне он читал душепитательные романы и сочинял стихи, в которых герой умирал долгой и мучительной смертью. Диккенса он прятал под подушкой.

Он любил Дом, никогда не знал другого дома и родителей, он вырос одним из многих и умел уходить в себя, когда хотел быть один. На флейте он лучше всего играл, когда его никто не слышал. Все получалось сразу – любая мелодия – словно их вдувал во флейту ветер. В лучших местах он жалел, что его никто не слышит, но знал, что, будь рядом слушатель, так хорошо бы не получилось. В Доме горбатых называли Ангелами, подразумевая сложенные крылья, и это была одна из немногих ласковых кличек, которые Дом давал своим детям.

Горбач играл, притоптывая косолапыми ступнями по мокрым листьям. Он впитывал в себя спокойствие и доброту, он заключал себя в круг чистоты, сквозь который не пролезут бледные руки *тех, что путают душу*. По ту сторону сетки мелькали люди, это его не тревожило. Наружность отсутствовала в его сознании. Только он сам, ветер, песни и те, кого он любил. Все это было в Доме, а снаружи – никого и ничего, только пустой, враждебный город, живший своей жизнью.

Двор заносило листьями... Два тополя, дуб и четыре непонятных куста. Кусты росли под окнами, прижимаясь к стенам, тополя отмечали два наружных угла сетки, выходя корнями за пределы Дома. Дуб, росший у пристройки, пожирал ее могучими лапами и затенял свою часть двора почти целиком. Он вырос здесь задолго до того, как появился Дом, и помнил те времена, когда вокруг были сады, а на деревьях гнездились аисты. Как далеко простирались его корни? Пустая волейбольная площадка с ящиками зрительских мест по краям. Пустая собачья будка с дырявой крышей и ржавыми мисками с дождевой водой. Скамейка под дубом, обклеенная пивными этикетками. Мусорные баки. Из кухонных окон валил белый пар. Из окон второго этажа доносилась музыка всех цветов.

Облезлые кошки обегали двор по периметру. Вороны расхаживали по голым газонам, расшвыривая жухлые листья. Большеносый мальчишка в красном свитере сидел на перевернутом ящике и играл на флейте, замыкая себя в круг одиночества и пустоты. Дом дышал на него окнами.

О летучих мышах, драконах и скорлупе василисков

[Курильщик]

В спальне было весело. Мы с Горбачом сидели на кровати. Лорд, Табаки и Слепой – на полу, передавая друг другу какие-то банки и бутылки, внюхиваясь, дегустируя и переливая таинственные смеси из одних емкостей в другие. Рядом с ними стоял складной манежик. Толстый в розовой пижаме наблюдал за их действиями изнутри, через сетку.

Я смотрел с кровати через прутья спинки.

Горбач выстругивал что-то перочинным ножом из черного, узловатого корня. На нем была дворовая куртка со следами Нанеттиного помета, в волосах застряла стружка.

– А я говорю, что хвоя перестояла, – гудел Табаки, ныряя в банку с чем-то мутно-коричневым. – Запах совсем не тот.

– Возьми другую.

Лорд отобрал у него банку, понюхал и отставил:

– Эта прошлогодняя. И хватит трясти, осадок взболтаешь.

Слепой облизал ладонь, подставленную под бутылку, и скривился:

– Откуда здесь масло? Это что, заправка для салатов?

– Ай! – взвизгнул Табаки. – Где ты ее взял? Там скорпион, утопленный в подсолнечном масле! Средство от укусов! Я его совсем отдельно припрятал!

Лорд поднес бутылку к лицу и всмотрелся:

– Кажется, так и есть. Вон он плавает. Придурак, зачем было брать матовую? Его же совсем не видно.

– Что оказалось под рукой, то и взял, – обиделся Табаки. – Не очень-то повыбираешь, когда у тебя в руке скорпион. И вообще, я наклеил на нее предупреждающую надпись. Наверное, она оторвалась.

– Что Слепому твоя надпись? Вот помрет сейчас, и останемся без вожака накануне военного переворота.

Лорд улыбнулся. Мечтательно и нежно.

Сразу вспомнилась присказка Табаки: «Лорд улыбается раз в году, когда кто-нибудь умудрится сломать себе ногу». «Или хлебнуть из бутыли с дохлым скорпионом», – дополнил я про себя это наблюдение.

– Слепой, у тебя есть заговор от ядов? – заботливо выспрашивал Табаки. – А охранный амулет?

Слепой уже занимался другой бутылкой. Откупорил, бросив пробку в манежик Толстому, и капнул оттуда себе на пальцы. Умирать он в ближайшее время явно не собирался.

– Да что ему какой-то скорпион? – сам себе ответил Табаки. – Он и не такое жрал. Накануне и не накануне.

Осчастливленный Толстый игрался пробкой. Подбрасывал ее двупальными клешнями и пробовал поймать. Пробка не ловилась, но Толстый не отчаялся. Потом он сунул ее в рот и принял мусолить, как соску.

Я еще немного поглядел на них и лег на спину. От строгавшего Горбача веером разлеталась стружка.

– Извини, – говорил он всякий раз, когда она долетала до меня.

– Ничего, – всякий раз отвечал я.

Глаза у Горбача были, как мокрый чернослив, ресницы казались приклеенными.

– Между прочим, – сказал он, прервав наш однообразный обмен любезностями, – Валет сказал, что Помпей тренируется в метании ножей, представляете? Вроде бы попадает в центр мишени с десяти шагов, три раза из пяти.

– Ты это кому рассказываешь? – спросил с пола Табаки.

– Всем.

Я опять перевернулся на живот и раздвинул пакеты и сумки, висевшие на спинке кровати.

– Ну и зря. Нам в принципе с такими разговорами и Лэри хватает.

Табаки достал из банки полуразложившийся чилийский перчик, потряс его и сунул в рот.

– Вот эта настойка хороша, – сказал он, зажмутившись. – Одно, знаете ли, удручет. Пока Помпей достигнет совершенства в метании ножей, Лэри нас затрахает до смерти. Он уже не в себе. На людей бросается. Правда, теперь еще не скоро бросится, но все равно. Плохо парню. Надо с этим что-то делать.

– Почему он теперь не скоро бросится? – спросил я.

Лорд послал мне еще одну лучезарную улыбку:

– Вчера мы убедили Лэри, что он тебя убил.

Следующим вопросом я подавился.

– Он долго рыдал где-то в недрах Дома, – продолжил Лорд, – навек прощаясь с верными Логами. Этого потрясения ему надолго хватит.

— А тебе, конечно, приятно, что человек помучился! — возмутился Табаки. — Что он, может, чуть не повесился? С каким удовольствием ты об этом рассказываешь!

— Я думаю, Сфинкс успел бы вынуть его из петли, — безмятежно сказал Лорд. — Он такой заботливый... иногда. Кроме того, Табаки, ты, кажется, забыл, что это была твоя инициатива?

Я смотрел на Лорда и думал о том, что, доводя меня в туалете до истерики, Сфинкс уже знал, что сотворили с Лэри его состайники. И что лучшей гарантии для моей безопасности просто быть не может. Но ничего не сказал. Проверил, способен ли я на стукачество, а потом согласен ли я считаться стукачом в глазах Лэри, которого не особенно уважаю. А может, попутно еще много чего проверил, о чем я даже не догадываюсь. Не случайно меня тогда посетило чувство, что я на экзамене. Это и был экзамен. Я понял, что не скоро ему это забуду. И еще — что никогда никому об этом не расскажу.

Внизу Табаки увлеченно рассуждал о психическом состоянии Лэри, уверяя, что ему наверняка поможет настойка валерианового корня. Лорд возражал, что Лэри поможет только скоропостижная смерть Помпея. Слушая их, я вспомнил, что давно уже ходят разговоры о каком-то перевороте и что в связи с этим неоднократно упоминалась кличка Помпея, вожака шестой. Будучи Фазаном, я не вникал в эти разговоры, а теперь вдруг забеспокоился, что не знаю чего-то, о чем наверняка знают все, и спросил:

— Так это Помпей затевает переворот? А зачем ему это нужно?

Табаки, Лорд и Слепой подняли головы и уставились на меня.

Вернее, уставились Табаки и Лорд. Слепой только поднял голову. С банками и ложками в руках, в цветастых банданах, чтобы не мешали волосы, они до смешного смахивали на трех ведьм, занятых приготовлением колдовских зелий. Толстый в манежике сошел бы за гомункулуса. Скорпион в бутылке тоже был вполне на своем месте. Я невольно хихикнул.

— Зачем ему это? — самая мелкая и волосатая ведьмочка окуталась сигаретным дымом и впала в транс. — Зачем...

— В одном предложении! — вскинулась вторая. — Это приказ.

— Как-так? — возмутился Шакал, выходя из образа. — Опомнись, Слепой! Курильщик останется непросвещен!

На Слепого эта угроза не подействовала.

— Ладно, — угрожающе протянул Табаки. — Раз вы так, то мы эдак... — Он расчистил вокруг себя место, как будто собираясь взлететь, сел прямо, откашлялся...

— Слушай, Курильщик, и мотай на ус правду о Помпее, которого, ты, конечно, немного знаешь и который в последнее время ведет себя не лучшим образом, позволяя себе многое, чего не позволял раньше, хотя раньше — понятие растяжимое, для многих из нас раньше его вообще здесь не было, и мы знать не знаем, как он вел себя там, где он был, когда его не было здесь, так что не совсем понятно, как можно быть уверенным, что он вел себя прилично, он — человек настолько далекий от Дао, насквозь пропитанный миазмами Наружности, всерьез полагающий, что способен заменить Слепого на его ответственном посту, хотя, возможно, его просто достала перенаселенность подведомственного участка, и он жаждет покоя и тишины, но в таком случае проще было бы решить эту проблему перемещением своего тела в пределы Клетки сроком от трех до пяти дней, что, несомненно, способствовало бы самопознанию и очищению духа, а также погружению в более высокие материи, да и просто развитию философского склада ума, но нет, ему нужно совершить нечто громогласное и сокрушительное, разбить наголову, потешить множество застарелых комплексов, а в том, что он личность глубоко закомплексованная, не возникает сомнений, достаточно взглянуть на его шейные платки или бакенбарды, на манеру передвигаться и жестикуляцию, а в особенности на морды летучих мышей, которыми он себя увешивает, — обреченные морды существ, страдающих всеми мыслимыми и немыслимыми среди рукокрылых заболеваниями, тоже мне Оззи Осборн, тот по крайней мере сразу откусывал им головы, а на Помпееом загривке они дохнут месяцами, вот, несчастная Поппи отдала концы

только в прошлую среду, а сегодня ее место уже заняла Сюзи, но чего можно требовать от полного профана в биологии, который даже не в курсе, что Сюзи: самец, хотя яйца у него с грецкий орех, хотя, конечно, это не имеет значения, ведь долго ему не протянуть – этому Сюзи – Помпей похоронил уже полдюжины его собратьев, так что это вопрос времени, к тому же летучему мышу наверняка все равно, под чьим именем его отправляют на тот свет, хотя общество защиты животных могло бы и заинтересоваться тем, кто скапает этих бедолаг пачками, чтобы выглядеть круче, хотя, видит бог, полуодохлая тушка летучей мыши еще никому не придавала крутизны, вот был бы это коралловый аспид, имело бы смысл о чем-то говорить, но тот, кто не живет с мыслью о собственной смерти, вряд ли повесит на себя аспида, ведь это потребовало бы уймы усилий по завоеванию его доверия, но ведь можно выстлать свой путь костями безвредных рукокрылых, не давая себе труда даже определить их пол, и вполне вероятно, что не что иное, как полная безнаказанность в данном вопросе, позволяет Помпею думать, что он не поперхнувшись пройдет по значительно более крупным костям значительно менее безвредной личности, я, конечно, имею в виду Слепого, но вы меня поняли, состайники, последнее я мог бы и не разъяснять.

Табаки умолк и с достоинством кивнул Слепому:

– Я почти уложился, хотя это было гнусно с твоей стороны так меня ограничивать.

В комнате стояла мертвая тишина. Даже магнитофон молчал. Даже Нанетта не подавала признаков жизни. Могло показаться, что все это время Шакал читал мощнейшее заклинание по усыплению окружающих. Лорд сидел в обнимку с банкой без крышки и раскачивался, прикрыв глаза. Слепой привалился к манежику Толстого. Горбач уставился на свой перекрученный корень, явно забыв, что собирался из него вырезать. Лица у всех были сонные и какие-то переевшие. На грани отравления. Только Толстый не поддался чарам. Дергал Слепого за волосы и тихо гудел.

Когда я окончательно уверился, что всех вокруг заколдовали, Горбач очнулся и, сонно моргая, перевел:

– Табаки имел в виду, что Помпей метит на место Слепого. Не знаю, разобрал ли ты это за летучими мышами и прочей дребеденью.

– Протестую! – возмутился Табаки. – Я выражался доступно, а главное – очень образно. Резюмировать такую речь, по-моему, преступление.

– Да, – согласился Горбач. – Но, может, Курильщика с непривычки слегка оглушило, и он не смог ее оценить.

Лорд открыл глаза и удивленно заглянул в банку, которую все это время обнимал.

– А нельзя ли, – спросил он, – в следующий раз ограничить это чудовище количеством слов, а не предложений?

– Нельзя! – Слепой выпрямился, выдрав свои волосы из клешней Толстого. – Сам подумай, сколько раз и в скольких вариантах можно повторить одно и то же слово.

Мы все об этом подумали и дружно застонали. Табаки посмотрел на нас с видом великого актера, принимающего аплодисменты.

За ужином я почти не ел. Меня встревожила информация о Помпее. О здоровье его летучих мышей я беспокоился в последнюю очередь. А вот слово «переворот» мне не понравилось. Я ощущал себя в центре событий, о которых имел очень смутное представление, а вернее – никакого, и это мне тоже не нравилось.

Как происходит смена вожаков в Доме? Они дерутся друг с другом? Или сразу группами? А если группами, то почему четвертая так безмятежна перед предстоящим побоищем? Ведь драку между ними и шестой иначе не назовешь.

«Кажется, спокойная жизнь заканчивается», – подумал я. Как будто моя жизнь в четвертой была спокойной или как будто она успела толком начаться.

Зеленый горошек в тарелке высыпал, котлета покрылась пленкой жира. Есть хотелось, но не получалось. Динамики под потолком поливали зал бравурными маршами. Из-за них все, кто находился в столовой, были вынуждены орать, чтобы расслышать друг друга.

Черно-белый Фазаний стол. Тихий кошмар изучающих чужие тарелки взглядов.

Половина Фазанов на диете – у каждого своя – так что за содержимым чужих тарелок следят очень пристально. Подсчитывают калории.

По соседству – Крысы. Буйство красок и всплески безумия.

Дальше – черные Птицы в кошмарных слюнявчиках...

Шестая изображает душевность. Если им верить, то в группе собирались сплошь весельчаки и любители розыгрышей. Правда, большую часть их шуток я не хотел бы испытать на собственной шкуре, и громкому смеху тоже не доверял, но все это были мелочи. В целом они старались как могли.

Третьей, четвертой и шестой нелегко. Фазаны – хорошие, Крысы – плохие. И те и другие до того перестарались с имиджем, что остальным приходится выкручиваться, чтобы хоть как-то вклиниваться между ними. У третьей это получается лучше, у шестой – хуже, а четвертая слишком малочисленна для... для, скажем так, полноценной игры.

«Сказав так», я вдруг подумал, что игра включает в себя больше, чем просто имидж. Это было очень правильное слово, поймав его, я понял, что давно искал что-то в этом роде. Слово, в котором пряталась бы разгадка происходящего в Доме. Просто надо было осознать, что игра – это все, что меня окружает.

Не бывает такого, чтобы в одной группе собирались все послушные зануды, а в другой – все неуправляемые психи. Это невозможно. Значит, когда-то и кем-то так было задумано. Зачем? Это уже другой вопрос.

Я даже вспотел от собственной проницательности. Аппетит окончательно пропал.

Однажды – фантазировал я – они, вконец озверев от скуки, придумали сценарий Игры и поклялись следовать ему при любых обстоятельствах. Каждому своя роль, каждому – свое место в игре. Так с тех пор и живут. Притворяясь и придерживаясь сценария. Иногда с охотой, иногда кое-как, но всегда и везде, особенно в столовой, где больше зрителей. Некоторые – как Фазаны – заигрались до потери человеческого облика.

Как легко и красиво все укладывалось в эту схему. Взглядом внезапно прозревшего я посмотрел вокруг.

Крысы. Почти сплошь малолетки не старше семнадцати. Под их ядовитыми ирокезами – подростки, еще не выбравшиеся из переходного возраста. Может, поэтому им так легкодается роль психов?

Птицы. На Птицах я споткнулся. Ну хорошо. Траур – всего лишь одежда. Лица неприятные, но при желании можно изобразить такое же лицо. Стервятник... монстр Дома. Я посмотрел на него своим обновленным взглядом и попробовал сорвать внешнюю шелуху. Траур... кольца... черный лак на отрощенных ногтях... длинные волосы и подкрашенные глаза. Убрать все это, забыть о том, что он спит в гробу,стереть вообще все сведения о его гнусных привычках – и что останется? Тощий, крючконосый тип. С острым подбородком. Личность неприятная, но далеко не чудовище.

Тут меня застопорило, потому что неприятная личность вдруг обернулась и уставилась на меня. Должно быть, почувяв процесс своего разоблачения. Посмотрела сонными желтыми глазами – и я потерял способность думать, замороженный этим взглядом.

Убедившись, что янейтрализован и готов к употреблению, Стервятник улыбнулся, показав очень длинные, кривые зубы. Ощущение было таким, словно кто-то с силой провел бритвой по стеклу.

Через пару минут я оправился, но остался неприятный осадок. Как после старого черно-белого фильма, где такой вот урод под тонной грима все полирует свои когти и смотрит не моргая, а тебе вдруг становится жутко и одновременно стыдно за то, что поймался на такую дешевку.

Ладно, сказал я себе. Это говорит только о том, что он хороший актер. Вжился в свою роль. В конце концов вожаки Дома должны быть мастерами Игры. Ведь наверняка они же ее и придумали.

Для подтверждения теории я проверил Рыжего.

Крысиный вожак не особенно поддавался разоблачению. Если убрать зеленые очки на

пол-лица и кровавый ежик якобы натуральных волос, то что останется? Ничего. С равным успехом это мог быть переодетый под Крысу манекен.

Я даже немного расстроился. И чтобы утешиться, переключился на Помпея.

Чем-то он отдаленно напоминал Сфинкса. Наверное, ростом. И лысиной. Только у Сфинкса она была натуральная. А Помпей на своей оставил небольшой гребень. Черный и залаченный до стеклянности. И еще он был толще. То есть гляже.

Я убрал косуху, как у Логов, панковский гребень с макушки и пудру с лица. Убрал с ворота летучую мышь, мельком припомнив, что ее, точнее его, зовут Сюзи и что ему недолго осталось. То, что получилось, выглядело обычно. Красивый парень, ничего особенного.

Раньше я не понимал, зачем такому, как Помпей, изображать восставшего мертвеца. А теперь сообразил, что это входит в правила игры. Вожак должен быть бледен и зловещ. Помпей смуглый, наверное, ему приходится изводить уйму пудры, чтобы соответствовать стандартам.

Упоенный образом Помпея, наводящего смертельную бледность с пуховкой в руках, я громко фыркнул.

В сценарии все отмечено. Любые мелочи. На какую сторону раскрывается Фазаний пробор. Насколько черно белье уважающей себя Птицы. Какие книги разрешается читать Псам. Может, даже Крысам иногда бывает лень перекрашивать волосы, но они себя заставляют, потому что таковы правила Игры. А Птицы, вполне вероятно, втайне ненавидят любую растительность, в горшках и без горшков.

Следующая догадка была совсем простой. Я шел к ней через все предыдущие, намеренно не торопясь, оставляя ее про запас, чтобы в конце эффектно водрузить поверх всего остального и закрыть тему.

Свержение Помпеем Слепого – вернее, его разрекламированное намерение – тоже часть игры. Невозможно постоянно обыгрывать одни и те же сюжеты. Время от времени сценарий требует изменений. Объявленная Помпеем война – именно такое изменение. Вожак Псов запугивает Логов, тренируется в метании ножей, ведет себя, по выражению Шакала, «не лучшим образом», зрители ужасаются, шпионы бегают из лагеря в лагерь с донесениями – людям есть о чем поболтать вечерами. Всем интересно и никому не страшно. Кроме Лэри. Лэри глуповат, он все принимает за чистую монету.

Я еще раз оглядел столовую. Как все просто и глупо!

Хотелось расхохотаться и прокричать всем вокруг, что я их раскусил. С их метательными ножами и летучими мышами. С переворотами, пудрой на щеках и скорпионами в бутылках.

Должно быть, это как-то простило у меня на лице, потому что Табаки вдруг отшвырнул вилку и спросил, какого черта я выгляжу таким самовлюбленным придурком.

– А вот так вот, – ответил я, показав ему кончик языка. Тут же спохватился, что Шакал не выносит, когда его дразнят, но было уже поздно.

Он с такой быстротой сделался малиновым, как будто его ошпарили. Выкашлял на тарелку непрожеванный кусок и попросил Лорда схватить его и держать как можно крепче.

– Все видели, как этот уродец в перьях плонул на мои седины? Все? Сейчас я выпущу ему кишки!

Сказанное перебивалось кашлем, но прозвучало убийственно серьезно.

Лорд отнял у Табаки десертный нож, заметив, что вид моих кишок на полу столовой испортит всем аппетит.

Табаки кашлял, пока не посинел.

– Он думает, что прозрел! – донеслось до меня в перерыве между приступами кашля. – Что что-то такое важное понял! Есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь после смерти или почему Земля круглая! Глядите, как его раздуло!

– Он еще с твоего монолога опух, – предположил Горбач. – Просто не привык еще.

– Ничего меня не раздуло! – возмутился я. – Я не опух, не раздулся, и вообще оставьте меня в покое!

— А и правда, — сказал Черный с другого конца стола. — Что ты на него налетел, Табаки? Уж и подумать ни о чем нельзя спокойно.

— Спокойно! — заорал Табаки. — Это теперь называется «спокойно»? Когда на моих глазах состайник наливаются самомнением, оскотинивается и жирно прищуривается, я, по-вашему, должен молчать? А потом жить рядом с этой паскудной рожей? Если собирается так выглядеть, пусть завесит себя чадрой. Лично я этого терпеть не намерен!

— Он уже просто злой, — заверил его Сфинкс. — Сам посмотри. Убедись и успокойся, пожалуйста.

Но Шакал еще долго не мог успокоиться. Жевал, отвернувшись, потом вдруг вскидывался, пронзая меня гневным взглядом и опять отворачивался. И было это вовсе не так смешно, как казалось Лорду.

Выезжал я из столовой с каменным лицом. Я не сердился на Табаки. Даже не был обижен. Я восхищался его проницательностью.

Никому не нравится, когда посторонние разгадывают их любимые игры. Реакция Табаки подсказывала, что я на верном пути. Надо только лучше маскироваться.

Черный, проходя мимо, похлопал меня по плечу.

— Плюнь, — сказал он. — Здесь все психи, один другого хуже.

— Да нет, почему же психи? — опять не сдержался я. — Просто игроки.

Черный посмотрел удивленно.

Я так и не понял, что его удивило. Слова, которых он не понял, или моя проницательность.

Они сидели в грязных клетках и высасывали сырье яйца, через дырку в скорлупе, уши у них были жесткие и острые, а когти — как кривые ятаганы. А умирали они от насморка и от чесотки, все остальные болезни им были нипочем...

...она посветила на меня сиреневым глазом, и я понял, что это Большая Волосатая, та, что живет под кроватями, где скапливается много пыли, а по ночам выворачивает половицы в поисках плесени. Я попросил ее предсказать мне судьбу, но она не стала этого делать. «Нет страшнее участи, чем знать о том, что будет завтра», — сказала она и подарила мне в утешение свой клык...

А в замке том обитал рыцарь, славный своими подвигами. Люди звали его Драконоборцем, потому что он убил последнего дракона, которого и отыскать-то было нелегко. Злые языки, правда, утверждали, что дракон на самом деле был просто крупной ящерицей, привезенной из Южных Земель...

Оно похоже на черный цилиндр. Его не видно при солнечном свете, и тем более не видно в темноте. Его можно только нащупать случайно. А по ночам оно тихо гудит, воруя время...

Я лежал в темноте и слушал. Было жарко. Голова кружилась от коктейля, в котором смутно угадывались водка, лимонный сок и что-то вроде шампуня с запахом хвои. Из похороненного в одеялах магнитофона доносилась органная музыка. Вокруг теснились чужие ноги и руки, подушки и бутылки. Впервые на моей памяти свет был полностью выключен. Историям не было конца. Они обрывались, не успев толком начаться, и сменялись другими, возобновляясь, когда я уже успевал забыть их содержание, и из этих чередующихся отрывков складывались причудливые узоры, уследить за которыми было нелегко, хотя я очень старался.

... это час, когда криворогие выходят на влажные тропы, ведущие к воде, и ревут. Деревья гнутся от их рева. А потом настает час, когда всех дураков сажают в лодки и отправляют по лунным дорожкам вверх по реке. Считается, что их забирает к себе луна. Вода у берегов становится сладкой и остается такой до рассвета. Тот, кто успеет ее выпить, станет дурачком...

Я рассмеялся и пролил на майку немного вина.

– Зачем же тогда пить? – спросил я шепотом. – Если это так опасно?

– Нет человека счастливее, чем настоящий дурак, – ответил невидимый рассказчик.

Судя по голосу, Сфинкс. Хотя я уже путал голоса. Слишком много выпил, наверное. Стакан все время наполнялся сам собой, а под правым боком, упираясь горлышком в ребра, торчала пустая бутылка. Отодвинуть ее мне было лень.

В черном лесу василисков немного. Они почти выродились, не у всех взгляд смертелен. Но если забрести подальше вглубь, туда, где кора деревьев покрыта светящимся фиолетовым мхом, оттого что они не видят света, там уже можно встретить настоящего. Поэтому туда никто не ходит, а из тех, кто пошел, мало кто вернулся, а из вернувшихся никто не встречал василиска. Так откуда же мы знаем, что они там есть?..

Меня толкнули.

– Эй, твоя очередь. Давай, расскажи что-нибудь.

Я потер лицо. Липкими пальцами. И облизал их. Сонный дурман уносил меня по лунной реке. Прямо в объятия криворогих.

– Не могу, – честно признался я. – Не знаю ничего похожего на эти истории. Я вам все испорчу.

– Тогда давай стакан.

Я протянул стакан в направлении голоса:

– «Хвойного», пожалуйста. Но поменьше. В ушах шумит, – я настаивал на «Хвойном», потому что три другие бутылки Табаки при мне со зловещей ухмылкой доливал из банки с чилийскими перчиками, и я не был уверен, что выживу, попробовав то, что в результате получилось.

– А тут и так почти не осталось. Но ты смотри не засни. В Ночь Сказок нельзя спать. Это невежливо.

– И часто у вас бывают такие ночи?

– Четыре раза в году. Посезонно. А еще Ночь Монологов, Ночь Снов и Самая Длинная Ночь. Эти по одному разу. Две из них ты уже пропустил.

Мне вернули стакан.

– Ночь Большого Грохота – когда Горбач падает со своей верхотуры, – продолжал бубнить голос. – Ночь Желтой Воды, когда Лэри вспоминает детские привычки... Кстати, проверьте его. Он уже два круга пропустил.

Где-то в ногах кровати начали проверять Лэри. Судя по долетавшим оттуда охам и стонам, он спал.

– Штрафной рассказ с тебя, соня, – сказали ему.

Лэри зевнул, как тигр, и долго молчал.

– Одна симпатичная девчонка как-то раз попала под поезд, – донеслось наконец сипло и безнадежно.

– Все, заткнись. Можешь спать дальше.

С блаженным всхлипом Лэри рухнул куда-то, откуда его чуть раньше выкопали, и тут же захрапел. Я рассмеялся. Там, где я облился, рубашка липла к телу. Магнитофон горел красным глазом.

... если Волосатой надо что-то услышать, она делает дырку в стене, а если ей надо что-то увидеть, она посыпает крыс. Рождается она в фундаменте дома, и живет, пока дом не рухнет. Чем дом старше, тем Волосатая крупнее и умнее. У нее бывают свои любимчики. Тем, кого она любит, на ее территории хорошо и спокойно, а другим – наоборот. Древние называли ее духом очага и делали ей подарки. Считалось, что она защищает от нечистой силы и дурного глаза...

Интересно, чья это история? Я не узнавал голос рассказчика. Мне даже показалось, что свет выключили специально, чтобы меня запутать. И сказки рассказывают измененными певучими голосами с той же целью.

…потому что с тех самых пор, как рыцарь прибил на стену парадной залы двуглавый череп, на него пало проклятье дракона. Старший сын в роду стал рождаться на свет с двумя головами. Говорили, правда, и иное. Что вовсе не рыцарь победил дракона в том давнем бою, а дракон рыцаря, и что в замке с тех пор поселился сам ящер в человеческом облике, оттого и не давал он в обиду своих двухголовых сыновей и любил их более одноглавых…

Крик жабы-повитухи страшен и слышен издалека. Если не знать, нипочем не поверишь, что кричит всего лишь жаба. Яйца она зарывает во влажные листья и присыпает землей. Искать их следует там, где сырьо, у самых старых деревьев. Когда вылупляется маленький василиск, скорлупа яйца начинает дымиться. Но обливать ее водой и туширить нельзя, это к беде. Надо дождаться, пока она сама дотлеет. Оставшиеся черные пластинки приносят удачу, если зашить их в кожу или замшу и носить не снимая…

– Я бы не отказался от такой скорлупы, – пробормотал я, борясь со сном. – Ни у кого не завалялась? Водятся тут охотники за скорлупой василисков?

Вокруг засмеялись.

– А череп двухголового дракона тебе не нужен? – возмутился Табаки. – Ишь, какой прыткий мальчионка!

– Нет. Череп не нужен. Не хочу пасть жертвой проклятия.

– Но немного бесплатной удачи тебе не помешает? – уточнил невидимый спец по василискам.

– Кому может помешать удача?

– Тогда возьми. Но помни: теперь на тебе частичка Темного Леса. Будь безупречен в своих желаниях.

Чьи-то руки скользнули по моим волосам. Я приподнял голову, вытянул шею, и по ней съехал мешочек на шнурке.

Вокруг возмущенно загаддали, не одобряя выпавшее на мою долю везение.

– Черт знает что! – крикнул Табаки.

О мой затылок стукнулось что-то маленькое, но метко запущенное. Четвертинка яблока, как оказалось.

– Сто лет тут живу, развлекаю всех как проклятый с утра до ночи, весь обтрепался и высох, и ни одна собака еще не предлагала мне поносить скорлупу василиска! Вот она, благодарность за все старания, за все годы мучений!

– Ты же и не просил? – мягко возразил даритель амулета.

По легкому ознобу, вдруг охватившему меня, я угадал в нем Слепого. Хотя голос был как-будто не совсем его.

– Дерьмо собачье! – взвился Табаки. – Неужели, чтобы тебя уважали, надо клянчить и выпрашивать? Где справедливость, я вас спрашиваю?

То ли он на самом деле был до глубины души расстроен, то ли здорово прикидывался. В любом случае, мне стало неловко.

– Хочешь, дам поносить? – я уже взялся за шнурок.

– Еще чего! – взвизгнул он. – Чужой амулет! Да ты сдуруел, дорогуша! Лучше уж сразу подари мне проклятый драконий копчик!

– Кстати о драконах, – вмешался Сфинкс. – Мы прервались. Как там насчет двухголовых?

– Да никак, – щелкнула зажигалка, Лорд закурил, осветив подбородок. – Я последний сын в этом дурацком роду. Как видите, у меня всего одна голова. Так что мы выродились к чертям, о чем я вовсе не жалею.

Немного ошарашенный таким окончанием сказки, я засмеялся.

– Круто. Так это было проклятие или сам дракон?

Кончик сигареты прочертил в воздухе тлеющий зигзаг.

– Понятия не имею. Знаю только легенду и что на гербе у нас двухголовая ящерица с идиотским выражением обеих морд.

– У тебя есть герб?

– На каждом платке и на каждом носке, – с отвращением признался Лорд. – Я их теряю-теряю, а они все находятся. Могу подарить на память того и другого в десяти экземплярах, плюс зажигалку. А теперь давайте о чем-нибудь другом. Что там с этими бедными придурками, плывущими по реке?

– Кто знает? – ответил Сфинкс. – Плынут себе. Может, где-то причаливают, а может, и правда их луна забирает. Дело не в них, а в речной воде...

– «Лунная дорога»! – ахнул Табаки. – Так я и знал, что это о ней, родимой!

Я мысленно вернулся к началу сказки: « тот, кто успеет напиться, станет дурачком », и уже собирался спросить, почему же в таком случае Лорд им не стал, когда его рука предупреждающее стиснула мой локоть. Почти невозможный фокус – так быстро переместиться по забитой людьми кровати. Стало интересно, сумел ли он заодно заткнуть и Шакала, или Табаки смолчал сам, но я, понятно, не стал об этом спрашивать.

– Откроем окна? – предложил кто-то. – Душно...

На другом конце кровати закопошились, зевая и прикуривая.

– Воды бы еще. Кончились.

– Пусть Курильщик едет. Он не рассказывает.

– Курильщик не доедет.

– Я схожу, – предложил кто-то, соскакивая на пол. – Давайте бутылки.

Зазвенели бутылки. Я нашарил ту, что лежала под боком, втыкаясь мне в ребра, передал – и сразу стало легче дышать. Оказывается, она мне здорово мешала.

– Спой про сиреневый призрак, Горбач. Это красивая песня.

– Не то настроение. Я лучше спою про пойманную на месте преступления.

Меня опять толкнули и залили вином.

Не бейте меня, люди, я старая крыса,
клянусь вам, не более того!
Один лишь кусок желтого сыра.
И нет других грехов на мне,
Клянусь я вам, клянусь...

– Страшное дело! – прошептал чей-то голос с приглушенным смешком.

Один лишь ход и два коридора в нем,
в конце моя спальня,
Мы в ней вчетвером.
Я самая старая, я скоро умру,
Не бейте меня сегодня,
дайте вернуться в нору!

Впотьмах горестно завздыхали.

Я ощупал мешочек на шнурке. Он был мягкий, заношенный и наглухо зашитый, без отверстий. Внутри лежало что-то острое, хрустнувшее под пальцами. Может, и вправду скорлупа. Или чипсы. Собственные движения казались мне замедленными, мысли мешались и путались. Я попробовал сбрить их во что-нибудь связное, но получались только невнятные обрывки. «Распороть этот мешочек... посмотреть... проверить носовые платки Лорда. Спросить, почему он не хочет, чтобы знали про Дорогу». В то же время, я понимал, что завтра вряд ли вспомню, о чем думал сегодня. Я вообще, наверное, мало что вспомню.

Проснулся Лэри – его голос я отличал даже спяну – и начал рассказывать историю об ужасном снеговике. Его опять прервали. Оказалось, про снеговика Лэри рассказывает уже не

первый год, и все, кроме меня, знают эту историю наизусть. Лэри сказал, что они боятся. Что это самая жуткая на свете история и не всякий в состоянии ее выслушать.

Потом принесли воду. Стакан пропал, так что я стал ждать пущенной по кругу бутылки, но кто-то перевернул ее, пролив воду на кровать, и все заорали и повскакивали. На меня уронили пару книг и подушку. Выбравшись из-под них, я тут же зарылся обратно, потому что яркий свет ослепил меня.

Проморгавшись и придя в себя, я снова вынырнул и сразу нашел потерявшийся стакан. Он валялся в складках пледа, тихо истекая остатками «Хвойного». На выключателе лежала рука Слепого. Он один не жмурился, злорадно выжидал, пока стихнут общие стоны. В другой руке он держал три влажные бутылки, каким-то чудом перевив их горлышки невозможно длинными пальцами. Сообразив, что это он ходил за водой, я удивился. Странно как-то в четвертой обстояли дела с субординацией.

Половина стаи уже перекочевала на пол. Горбач с Македонским открыли окна и побросали на пол матрасы. Я попробовал спуститься с кровати без посторонней помощи, хотя у меня это и в трезвом виде не всегда получалось. Черный поймал меня, перевернул и оттащил на матрас. Я долго благодарил его, путаясь в словах. Магнитофон включили, свет выключили. Македонский набросил на нас с Лордом одеяло, потом еще одно на лежавших рядом. Слепой раздал последние бутылки с водой.

Я лежал, кутаясь в свой краешек одеяла, и мне было хорошо. Я стал частью чего-то большого, многоного и многорукого, теплого и болтливого. Я стал хвостом или рукой, а может быть, даже костью. При каждом движении кружилась голова, и все равно давно уже мне не было так уютно. Если бы утром кто-то сказал, что я проведу эту ночь вот так, разомлевший и счастливый, напиваясь и слушая сказки, смог бы я в это поверить? Пожалуй, нет. Сказки. При выключенном свете, с нестрашными драконами и василисками, с дурацкими снеговиками...

Я чуть не заплакал от наплыва нежности к своим состайникам, но вовремя спохватился, что это будут пошлые, пьяные слезы.

— Я красивый, — сказал урод и заплакал...
— А я урод, — сказал другой урод и засмеялся...

Ночь продолжалась.

ДОМ Интермедиа

Дом принадлежал старшим. Дом был их домом, воспитатели присутствовали, чтобы поддерживать в нем порядок, учителя — чтобы старшим не было скучно, директор — чтобы не разбежались учителя. Старшие могли жечь в спальнях костры и выращивать в ваннах грибы-галлюциногены, никто им ничего не мог запретить.

Они говорили: «спица колес моих», «застойный крен в костях», «деятельно присутствующие части тела», «косящий под литургию». Они были лохматы и пестры. Они выставляли острые локти и смотрели замораживающие. От их злой энергии дрожали стекла в оконных рамках, а кошки нежились в ней, обрастаю искристой аурой. Они заключали между собой браки и усыновляли друг друга. Не было надежды проникнуть в их мир. Они его придумали сами. Свой мир, свою войну и свои роли.

Из-за чего началась их война, не помнил никто. Но они были людьми Мавра и людьми Черепа, делились на черных и красных, как шахматные фигуры. Перед их драками Дом замирал и, затаив дыхание, ждал. Перед драками они запирали младших в спальнях, поэтому для младших их драки были жгучей, щекочущей тайной за двойным поворотом ключа. Чем-то прекрасным, до чего еще предстояло дорasti. Они ждали исхода этих сражений, отчаянно царапая замки и прислушиваясь. Кончалось это всегда одинаково.

Старшие забывали отпереть дверь, и младшие оставались пленниками своих спален до утра, до прихода воспитателей. Как только их выпускали, они бежали обнюхивать поле боя и искать следы, которых уже не было. Позже из подслушанных разговоров они узнавали подробности. Тогда большая игра старших переходила в их маленькие дворовые игры и терзалась до тех пор, пока не надоедала.

Мимо дверей пятнадцатой спальни Кузнечик крадется на цыпочках, как вражеский лазутчик. Из комнаты доносятся голоса. Вдруг все они смолкают, как по команде, и в тишине слышен только тихий сип. Кузнечик заглядывает в приоткрытую дверь.

Фиолетовый Мавр сидит спиной к двери, совсем близко. Как зачарованный, Кузнечик рассматривает его шею. Если бы кого-то покрыли миллиардом татуировок, так чтобы они смешались и налезли друг на друга, получилась бы именно такая странная шея. Розовые уши на ней – как приклеенные. Мавр сипит, выбулькивая слова-ключики, и голова его вздрагивает, а уши движутся отдельно, сами по себе, маленькие и розовые, как у крысы. Кузнечик смотрит на Мавра, на спинку его коляски, где есть держалка для зонтика и крючок, и еще много всего непонятного, чего не бывает на других колясках. Он вслушивается в сип, но ничего не может разобрать. Очкастый колясник в пижаме отвечает Мавру, почтительно прикрыв рот ладонью. Он замечает Кузнечика – глаза его делаются круглыми – и одними губами произносит:

– Брысь!

Кудрявая голова Мавра начинает поворачиваться. Кузнечик отлетает от двери и бежит по коридору быстрее ветра. Он – единственный из младших ходячих, кому запрещен вход в комнаты Мавра. 15, 14, 13. Другие могут входить туда, но не он. В комнатах Мавра можно стать подносчиком того и этого, кипятильщиком воды, чистильщиком обуви или мойщиком посуды. Можно стать резчиком колбасы для бутербродов, которые Фиолетовый поглощает в огромном количестве, один за другим. Это плата за общение со старшеклассниками. Для тех, кто плохо справляется с поручениями, Мавр держит в коляске ремень. Этот ремень снится младшим в кошмарных снах. Ремень Мавра, сам Мавр и его голос – скрипучий голос Лилового Чудовища. Возвращаясь из его комнат, мальчишки проклинают Фиолетового и показывают друг другу рубцы от ремня на ладонях.

Кузнечик им втайне завидует. Их ранениям, рассказам и жалобам – всему, что объединяет их в ненависти к Мавру. Это их приключения, их переживания. Он в стороне от этого.

Кузнечик замедляет шаг. Дальше – территория Черепа. Три комнаты, уравнивающие его с другими мальчишками, потому что им туда нет хода, как и ему. Это комнаты, мимо которых они тоже крадутся на цыпочках. Они не бывали там, но знают про эти комнаты все. Знают, что в одной из них нет кроватей, а есть только матрасы, которые по утрам складывают друг на друга в две огромные матрасные горы. На вершинах этих гор режутся в шашки колясники. Полы там липкие, на подоконниках шеренги пустых бутылок. Сидят на тонких циновках из красной соломки. В этой комнате обитает Череп. Узкоглазый хищник с леденящей душу кличкой, воин, вожак, живая легенда Дома. Идол всех младших, герой их игр, недосягаемый идеал.

Еще есть одиннадцатая комната. Та, где настоящий шалаш из бамбука. Где главное украшение – кальян Хромого, где живет попугай Детка – старый какаду, который умеет ругаться на трех языках. Мальчишки знают, в какие часы, проходя мимо раскрытой двери, увидишь горбуну Хромого, булькающего пузырями в прозрачно-пузатом кувшине.

Третья комната – та, что с наддверными надписями. Там Седой с коробкой амулетов и рыбками в аквариумах. Седой, не любящий яркого света. Комната таинственнее первых двух, потому что ее дверь всегда закрыта. Проходя мимо, Кузнечик представляет Седого и комнату, ему это легко, он там был и видел все сам. Он прижимает подбородком амулет под майкой и жалеет, что никому не может рассказать о том, что с ним было. Дар Седого приближает его к старшим. Сила, равная силе Черепа, – он несет ее тайно, спрятав от всех. День ото дня верится в нее все труднее. Он идет дальше, унося на себе свой секрет, свою

гордость и затаенные сомнения.

В Доме есть еще две стаи младших ходячих. У них свои комнаты, мимо которых Кузнечик старается неходить. Стая Певчих находится в состоянии «холодной войны» с Хламовными. Настоящие драки между ними случаются редко, но и те и другие пристально следят, чтобы враги не задерживались на их стороне коридора.

Обитателей Проклятой комнаты такие мелочи не волнуют. Их комната считается самой плохой из-за того, что она – единственная на всем этаже – выходит окнами на улицу. В ней живут изгои. Те, кого выставили из других стай. Всего четверо. Иногда Кузнечику кажется, что именно этого Спортсмен от него и добивается. Перехода в разряд «проклятых». Поэтому к их комнате он никогда не приближается. Даже лучший в мире амулет не сделает его Черепом, если он станет одним из них.

Дом кажется Кузнечику огромным ульем. В каждой ячейке – спальня, в каждой спальне – отдельный мир. Есть пустые ячейки классных и игровых комнат, столовых и раздевалок, но они не светятся по ночам янтарно-медовыми окнами, а значит, их нельзя считать настоящими.

Иногда он специально остается во дворе допоздна, чтобы пересчитать с наступившей темнотой живые ячейки окон и подумать о них. Это всегда оставляет странный осадок на душе. Потому что из всего огромного, горящего окнами здания-улья для него существуют всего четыре ячейки. Четыре мирка, куда он имеет доступ. Комната Лося. Комната Седого. И две комнаты Хламовника. При мысли об этом на него нападает тоска. Он слишком хорошо понимает, что Хламовник – не дом ему и не может быть домом. Туда не хочется возвращаться из темноты, там не хочется отдыхать после уроков, никто не будет тебя там ждать, если ты припозднился. Хламовник сам по себе. Для многих он – дом. Они отграживают свои кровати, помечая их знаками своего присутствия, как собаки метят территорию запахом мочи. Они пришпиливают в изголовьях картинки, сооружают полки из старых ящиков и раскладывают на них вещи. Для каждого кровать – это его личная крепость, носящая все следы хозяина. Его кровать – голая и безликая, и он не чувствует себя в безопасности ни лежа, ни сидя на ней.

За каждым окном – своя комната, и в ней живут люди. И для них комната – это дом. Для всех, кроме меня. Моя комната для меня не дом, потому что в ней живет слишком много чужих. Людей, которые меня не любят. Которым все равно, вернулся я к ним или нет. Но ведь Дом большой. Неужели в нем не найдется места для человека, который не любит драк? Для двоих...

Он обрадовался этой мысли, как будто понял что-то важное. Угадал выход. Ему всего лишь нужна своя комната, где не будет Спортсмена, Зануды с Плаксой, Сиамцев и всех остальных. Конечно, кроме него и Слепого там будет жить кто-то еще. И их должно быть много. Ведь все жилые помещения давно распределены. Каждый закуток, где можно уединиться, захвачен старшими. Значит, нужна просто спальня. А в спальнях живет не меньше десяти человек. Вот если бы их было не двое, а больше... хотя бы четверо! Можно было бы занять ту спальню, где спят Кролик, Крючок и Пузырь. Они там только nocturne. Поменяться с ними местами и никого туда не пускать. Вот было бы здорово!

Кузнечик вздыхает. Все это несбыточные мечты. Даже если они со Слепым переберутся в полупустую спальню, она все равно останется частью Хламовника. А если кто-то захочет к ним присоединиться (например, Горбач), Спортсмен этого не допустит. Место, где спят трое из его стаи, так же принадлежит Хламовнику, как спящие принадлежат стае. Он, пожалуй, даже им со Слепым не разрешит переселиться. Что же делать?

Спустя тридцать четыре дня после своего первого визита Кузнечик снова стоит перед дверью десятой комнаты. Поверх майки на нем зеленый свитер, вместо летних кед – ботинки, вместо жакетки – вельветовая куртка на молнии. Губы его шевелятся. Он читает надписи. Так он пытается успокоиться. Кузнечик подходит к двери вплотную и тихо стучит

носком ботинка. Не дожидаясь ответа, как когда-то Слепой, он отступает на шаг, ударяет пяткой о ручку и, отворив дверь, входит. Полумрак и прокуренность комнаты накрывают его душным шатром.

Таинственный, сверкающий мир старшеклассников плохо пахнет. Комната такая же, как месяц назад. Время остановилось, запутавшись в невидимой паутине, в бликах на боках бутылок, спрятанных под кроватями, оно осело на донышках ночных сосудов и на крыльях насекомых, пришипленных к стенам булавками. Бабочки, красивые при свете, в полумраке одинаково черны и похожи на крылатых тараканов. Мальчик затаенно дышит, приручая страх. Светится зеленым аквариум, в воздухе плавает дым. Полосатый матрас – на прежнем месте.

Закутанный в плед Седой поворачивает к нему сухое лицо. Он в черных очках, и от этого кажется еще белее.

– Ты что? – спрашивает он. – Кто тебе разрешил?

– Я пришел спросить про Великую Силу. Можно?

Седой морщит лоб, вспоминая, а вспомнив, улыбается:

– Садись. Спрашивай. Только покороче.

Кузнечик подходит к матрасу, на котором сидит Седой, и опускается перед ним на пол. С их предыдущей встречи он сделался старше на месяц, в возрасте, когда быстро растут. Лицо его печально и серьезно, на носу золотятся пылинки веснушек – следы пролетевшего лета.

Седой курит, роняя пепел в складки одеяла. Матрас в винных пятнах. Пепельницы в кружеве апельсиновой кожуры. Тарелка с подсохшим бутербродом. Все это успокаивает Кузнецика. В вещах ему чудится что-то домашнее. Он откашливается.

– Эта Великая Сила, – говорит он робко, – я ее больше не чувствую. Почему-то. Может, он испортился? Но я его не открывал, честное слово. Когда я его только надел, что-то было. А сейчас – нет. Поэтому я пришел.

В полумраке насмешливо поблескивают черные стекла очков.

– Надеялся, что сможешь горы свернуть? Тогда ты просто дурачок. Мальчик смотрит исподлобья, закусив губу.

– Я не думал про горы. Я не дурачок. Просто тогда что-то было, и я думал, это и есть Великая Сила. А сейчас ничего нет.

Слезы щиплют ему глаза. Он задерживает дыхание, чтобы справиться с ними. Седой, невольно заинтересованный, снимает очки:

– Что ты чувствовал? Я ведь не могу знать. Расскажи, и поговорим.

– Это было как... руки. Не так, как будто они вдруг взяли и появились, а по-другому. Как будто их могло и не быть. Как будто руки – это неизбежно, – Кузнечик мотает головой, раскачиваясь на корточках. – Я не могу объяснить. Как будто я был целый. Я думал, это и есть Великая Сила.

– Ты был целым? Когда вышел отсюда?

– Да, – Кузнечик поднимает голову и с надеждой смотрит в вишневые глаза альбиноса.

– А когда это прошло? Когда ты вернулся в спальню к своим?

– Нет. Так было и ночью, и утром, и еще долго. А потом исчезло. Я думал, вернется, но не вернулось.

Бесцветные брови Седого вздрагивают:

– И когда тебе нужно было делать что-то, чего ты не можешь сам, ты и тогда чувствовал себя целым? Я тебя правильно понял?

Кузнечик кивает. Щеки его горят.

– Я был, как птица, – шепчет он. – Как птица, которая может летать. Она ходит по земле, потому что ей и так хорошо, но если захочет... как только захочет, – поправляется он. – Тогда взлетит.

Седой нагибается к нему через циновку, тарелку и пепельницы. Лицо его уже не кажется совсем белым.

— Ты чувствовал, что можешь сделать все, что захочешь, когда захочешь, как только захочешь?

— Да.

— Мальчик, ты уникум!

— Это не я, это амулет! — почти кричит Кузнецик.

— Ах да, действительно, — поправляется Седой. — Я и забыл про него. Пожалуй, он получился сильнее, чем я думал. Я был бы не прочь сделать такой для себя. Жаль, что это невозможно.

— Почему? — Кузнецик полон сочувствия.

— Такие вещи получаются один раз, — Седой давит окурок в пепельнице. — Говоришь, он перестал работать?

Кузнецик нетерпеливо ерзает, облизывая пересохшие губы.

— Я потому и пришел. То есть сначала я ждал. Думал, вдруг это вернется. Долго ждал, а потом решил прийти. Ты ведь поможешь мне, Седой? Только ты можешь его починить.

Седой спохватывается, что попался в ловушку. Скорчив недовольную гримасу, он смотрит на часы:

— Я бы рад помочь, но боюсь, нет времени. Скоро вернутся наши. При свидетелях о таком не говорят. Отложим до другого раза. Может, к тому времени сила сама вернется.

— Сегодня две серии, — напоминает Кузнецик. Подозрение, что Седой хочет от него избавиться, делает его голос тусклым. — Фильм двухсерийный, — повторяет он тихо.

— Да? Я не знал.

Кузнецик встает.

— Ты не можешь мне помочь, — он передергивает плечами, не отрывая взгляда от пола. — Я бы подумал, что все это вранье, если бы не помнил, как было вначале. И таз с водой упал, — добавляет он с отчаянием. — Они вытирали пол, когда мы вернулись. Разве так бывает, чтобы все вместе? Случайно? Ведь не бывает?

— Да. Случайно ничего не бывает. Сядь.

Кузнецик поспешно садится, поджав ноги. Мрачный вид Седого вселяет в него надежду. Старшеклассники могущественны и загадочны. Когда-нибудь и он станет таким.

— Тебя обзывают? Я помню, Слепой говорил мне об этом.

— Теперь меньше, чем раньше, — с готовностью отвечает Кузнецик. — Им надоело. Так... иногда пристают немножко.

— Ладно, — Седой размышляет, опустив снежные ресницы. — Расскажи еще раз, как ты чувствовал в себе Великую Силу. Должен быть какой-то способ оживить ее. Может, мы его найдем. Я должен послушать тебя еще раз.

Кузнецик встряхивается, чтобы откинуть за спину рукава куртки, садится, скрестив ноги, и пробует объяснить все сначала еще раз. Седой похож на спящего, но он не спит. Свет лампы, повернутой к стене, окрашивает ее в золотисто-бежевый цвет, рыбки тычутся пухлогубыми мордами в аквариумное стекло.

— Ладно, — говорит Седой, когда Кузнецик замолкает. — Я понял. Иногда такое случается. Я думал, что даю тебе силу, а дал кое-что другое. Еще лучше. Ты это другое потерял. Такое тоже случается.

Губы Кузнецика начинают дрожать. Седой делает вид, что ничего не видит. Дым прозрачными спиральями струится над его пальцами.

— Это потому, — мягко говорит он, — что ты еще мал для амулета. Я предупреждал, что не делаю их для детей. Но все еще можно исправить. Даже если сейчас не получится, когда ты вырастешь, получится обязательно. Ведь он на взрослого.

Кузнецик даже не пытается скрыть разочарование.

— А сейчас? Я не могу ждать так долго.

Уловив раздражение Седого, он спешит оправдаться:

— Не потому, что мне не терпится! Правда! Но они все знают и говорят между собой, что я никуда не гожусь. А если не говорят, то думают. Все сильнее меня, потому что у них

есть руки. Все, – с ужасом повторяет он. – И если я буду такой, пока не вырасту, то потом уже ничего не поделаешь. Ведь они всегда будут помнить, что я был слабее. И как я тогда стану Черепом?

Седой откашливается, разгоняя ладонью дым.

– Интересный вопрос. А тебе не кажется, что ты можешь стать кем-то другим? Два Черепа – многовато для одного Дома.

– Ну пусть не Черепом, – покладисто соглашается Кузнецик. – Пусть кем-то другим. Но этот другой пусть будет как Череп.

Седой отводит взгляд, чтобы не видеть пустые рукава куртки и блестящие глаза.

– Да, – говорит он. – Обязательно. – Лицо его делается злым, пугая Кузнецика, но злость адресована не ему.

– Так, – говорит Седой, – скажи-ка мне, кто самый сильный человек в Доме?

– Череп, – не раздумывая, отвечает Кузнецик.

– А самый умный?

– Ну... вообще-то, говорят, что ты.

– Тогда слушай, что тебе говорит самый умный человек в этом Сером Ящике. Есть только один способ вернуть амулету силу. Очень трудный. Ничего труднее не бывает. Ты должен будешь делать то, что я скажу. Не один день и не два, а много-много дней подряд. И если ты хоть раз не выполнишь что-то до конца, даже самую мелкую мелочь...

Кузнецик яростно мотает головой.

– Если ты что-то пропустишь, забудешь или поленишься сделать, – Седой выдерживает зловещую паузу, – амулет потеряет свою силу навсегда. Можно будет его выбросить на помойку.

Кузнецик замирает в оцепенении.

– Так что думай, – заканчивает Седой. – Время у тебя есть.

– Да, – шепчет Кузнецик. – Я согласен. Я все сделаю. Не пропущу и не забуду.

– Ты даже не спрашиваешь, что придется делать.

– Я не успел, – объясняет Кузнецик. – А что придется делать?

– Много чего, – загадочно говорит Седой. – Это может быть даже скучно и неинтересно. Например, – потухшая сигарета прореживается в воздухе зигзаг, – я могу велеть тебе думать магические слова. Каждое утро, просыпаясь, и каждую ночь перед сном. Или повторять их очень тихо. Они могут быть совсем простыми. Но их надо думать всерьез. Вдумываясь. Или, например, я тебе вот что скажу, – Седой улыбается своим мыслям. – Я скажу – молчи один день. И ты должен будешь молчать.

– А уроки? – уточняет Кузнецик. – Я ведь не могу молчать на уроках?

– В выходные нет уроков.

– А если воспитатели...

– Вот видишь, – Седой разводит руками. – Ты уже споришь. Ищешь лазейку. Так нельзя. Либо ты согласен, либо нет.

Кузнецик моргает.

– Делай что хочешь. Можешь прятаться на чердаке. Но в этот день ты все должен делать молча. И это еще легкое задание. Дальше будет труднее. Например, несколько дней себя не жалеть. Или не сердиться. Это очень трудно. Этого не умеет даже Череп.

Замечание о Черепе поднимает настроение приунывшего Кузнецика.

– И только такие задания будут? Такие... – он подыскивает слова, – для мозгов?

– Дух важнее тела, – сообщает Седой. – Но если тебя интересует физическая сторона, не беспокойся. Все это тоже будет. Тебе придется помучиться.

– И драться придется? – спрашивает Кузнецик.

– Это не скоро. Это не главное. Для начала поцелуешь обе свои пятки, – говорит Седой.

Кузнецик улыбается:

– Как это?

– Очень просто, – Седой расправляет одеяло, стряхивает с него крошки и опять

закутывается. – Я тебе скажу: в такой-то день встанешь здесь, передо мной, и поцелуешь сначала одну свою пятку, потом другую. Стоя, естественно. Сидя – это любой может. И ты либо делаешь, либо задание считается невыполненным.

– А когда ты это скажешь?

– Не сегодня и не завтра. Сначала будут другие задания.

По затуманившемуся взгляду Кузнечика Седой понимает, что попытки целования пяток начнутся в самое ближайшее время. Он прячет улыбку в стакан с лимонадом и долго пьет. А когда отставляет пустой стакан, снова серьезен.

– Хватит, – говорит он. – Не нужно мне все это рассказывать тебе раньше времени. Уже поздно. Иди и подумай еще раз хорошенко. Я бы на твоем месте отказался.

Кузнечик нехотя встает.

– Я уже решил. Я не передумаю, Седой. Я буду молчать, и вообще что угодно. Дай мне задание прямо сейчас.

Седой смотрит на часы.

– На сегодня все, – говорит он. – Задание будет завтра. Я должен вспомнить магические слова и много всего другого. А ты пока думай. Доброй ночи.

– Доброй ночи.

Кузнечик, кивая, пятится до двери, а оказавшись в коридоре, некоторое время стоит в растерянности, как будто не знает, куда идти. После полумрака комнаты яркий свет режет глаза. Постояв в раздумьях, он поворачивается и медленно бредет по коридору. Ботинки вяло шаркают о паркет. Он идет, унося сокровенную тайну и странные видения. Магические слова, безжалостные и безгневные недели, маленького Черепа и большого Черепа, Брюса Ли, целующего свои пятки, Слепого, говорящего: «Почему же ты молчишь?» – и другие голоса: «Почему-то он стал очень странным». И вся эта неожиданная тяжесть наполняет его гордостью.

– Даже Череп этого не умеет, – бормочет он. – Это для него слишком трудно.

Горбач сидит на корточках, возле собачьей будки, гладит дворовую собаку и чешет ее за ушами. К нему подходит Кузнечик. Горбач встает, и они вместе идут к сетке. Туда, где скрыт кустами тайный ход в Наружность.

Майка Горбача в пятнах и подтеках. На нем солнечные очки кого-то из старших с треснувшим стеклом. Они сползают с носа, открывая два сросшихся полумесяца бровей. Как в круглых зеркалах, в них отражается двор. Фуражка обклеена значками и медальками. Он снимает очки и фуражку медленно, как пловец, готовящийся зайти в воду. По ту сторону сетки, в наружном мире, пять ободранных уличных собак реагируют на его жест одинаково: скуют, нетерпеливо подметая землю хвостами.

– Тихо! – приказывает Горбач. – Сидеть!

Ход в Наружность проделали старшие. Осенью кусты вокруг сетки редеют, и он становится виден издалека. Поэтому его забрасывают сухими листьями. Но собаки знают, где он, и, когда Горбач подходит к известному им месту, их волнение усиливается.

– Можно? – спрашивает Горбач и лезет в карман куртки Кузнечика. Они понимающие улыбаются друг другу.

Горбач достает сверток в жирных пятнах, прячет его под майку и, присев, заползает в кусты. Маскировочные листья обрушиваются на него шелестящим потоком. Дыра в сетке обнажается, собаки, толкаясь и повизгивая, бросаются обнюхивать появившуюся с их стороны черную лохматую голову.

– Сидеть! – кричит Горбач, отбиваясь от них.

Как ни странно, они послушно садятся в круг, постукивая хвостами. Получив каждая свою порцию, они углубляются в процесс поедания, и некоторое время слышны только чавк и хруст. Длится это недолго. Когда все съедено, Горбач дает им понюхать себя, свои руки и карманы, чтобы они убедились в том, что от них ничего не прячут. Возвращается он той же дорогой, облепленный комьями грязи. Листья сваливаются обратно на куст. Собаки

грызутся, обнюхивают друг другу пасти и бегают вдоль сетки.

— Совсем дикие, — задумчиво говорит Горбач, наблюдая за ними. — Никому не нужны. Сами по себе...

— Новичок! — сообщают мальчишки друг другу на бегу.

Слово передается по цепи, стены заглатывают его и выбирируют. Везде, где член стаи мирно ковырял в носу, разглядывая свои ботинки, где он подбрасывал мяч или подманивал кошку в надежде привязать к ее хвосту бутылку, заманчивая вибрация стен и зуд в ногах заставляют его, бросив все дела, бежать, обгоняя бегущих впереди, подхватывая на лету: «Новичок!» И, затормозив у дверей шестой спальни, нетерпеливо расталкивать локтями добежавших первыми, чтобы взглянуть, чтобы вдохнуть домашний запах, который приносят на себе новички. Этот запах различают только дети Дома. Неуловимый запах материнского тепла, утреннего какао, школьных завтраков, может, даже собаки или велосипеда. Запах *своего* дома. Чем дальше в прошлом у жителя Хламовника этот запах, тем лучше он его чует.

И они спешат, бегут, торопятся, чтобы, добежав, замереть, принюхиваясь, и увидеть всего-навсего щуплого мальчика на костылях, который улыбается жалобно, так что видны зубные шины, мальчика с неровной стрижкой и странным ботинком, в котором не может быть обычной ноги. Кузнецик бежит вместе со всеми и вместе со всеми смотрит. Жадно распахнув глаза, оттирая впереди стоящих. Запахи его не интересуют, он еще не научился их различать. Новичок для него не просто мальчишка, который странно выглядит и пахнет Наружностью. Для него новичок — это конец войны, конец унижений, пропуск в стаю, спокойная жизнь. Но когда вокруг, перешептываясь, произносят: «Новичок!» — он вздрагивает, как будто речь идет о нем.

Новичка окружают.

— Ну ты, новичок! — смеются они.

Один из Сиамцев задирает на нем штанину, и стая сознанием дела разглядывает ногу. Новичок испуганно покачивается на костылях.

— Отрежут напрочь, — заявляет Сиамец.

— Ясное дело, — поддакивают зрители.

— Мамашина детка, — с наслаждением добавляет Пылесос. — Будет одногая! — и он со свистом внюхивается в сладкий домашний запах.

Кузнецик невольно ждет знакомых реплик: «Любимчик Лося» и «Хвост Слепого». Такого не говорят, хотя, кажется, что вот-вот скажут. Мальчишкам действительно трудно удержаться. Они привыкли выкрикивать оскорблении в определенной последовательности и теперь растеряны из-за обеднения своего ругательного запаса.

Кузнецик отступает в задние ряды. Ему не по себе. Чувство радости заслоняет тоска. Он отступает все дальше и дальше, пока не оказывается вне круга и вне комнаты, откуда видно только спины, но и так не может избавиться от образа поникшего мальчика на костылях, который занял его место и принял страшное прозвище. Кузнецик стоит позади всех. Намного дальше, чем нужно, чтобы подчеркнуть свою непричастность. Когда, покончив с ритуалом знакомства, мальчишки расходятся, он не двигается с места. Он ждет, пока не скроется из виду последний, а после, выждав еще чуть-чуть, входит в опустевшую спальню.

В лесу

Слепой шел, по пояс утопая в жесткой траве. Кеды хлюпали. Где-то он успел набрать в них воды. Ступни липли к влажной резине, и он подумал, может, снять их вообще и дальше идти босиком? Но снимать не стал. Трава была острой, в ней попадались колючки и мерзкие слизни, на которых если наступишь, то уж потом не отмоешься. Там было что-то, похожее на мокрую вату, и еще что-то, напоминавшее комья спутанных волос, — и все это обитало в дурманной траве, ело ее, ползало в ней, хмелело от ее запаха, рождалось и умирало,

превращаясь в грязь, и все это была трава, если вдуматься, трава и ничего больше.

Слепой снял хрупкий домик улитки с высокого побега, хлестнувшего его по руке. Улитки липли к самым верхушкам трав и стучали друг о друга, как пустые орехи. Он положил домик в карман. Он знал, что, когда вернется, в кармане будет пусто – так бывало всегда, – и все же он всегда брал с собой что-нибудь просто по привычке.

Он запрокинул голову. Луна выбелила лицо. Лес был совсем близко. Слепой ускорил шаги, хотя знал, что торопиться не стоит – нетерпеливых Лес не любил и мог отодвинуться. Так бывало уже не раз: он искал его и не находил, ощущал рядом с собой и не мог войти в него. Лес был капризен и пуглив, к нему вело множество дорог, и все они были долгими. Можно пройти по болоту, можно – по полю дурманной травы. Однажды он попал в Лес с замусоренного пустыря, где валялись горы дырявых шин, груды железа и битой посуды, где земля терялась под окружками и осколками, где он порезал ладонь об острый угол чего-то железного и потерял любимый браслет-веревку. В тот раз Лес схватил его сам, подцепил косматыми лапами-ветками и затянул в глубь себя, в душную чащу своего сырого нутра.

Лес был прекрасен. Он был таинственен и лохмат, он прятал глубокие норы и странных обитателей нор, он не знал солнца и не пропускал ветер, в нем водились собакоголовые и свистуны, росли гигантские грибы-черношляпники и цветы-кровососы. Где-то – Слепой никогда не мог точно вспомнить, где именно, – было озеро, и была река, впадавшая в него. А может даже, рек было несколько. Путь к Лесу начинался с коридора, от дверей спален, за которыми сопели, хранили и шушукались, со стонущего, разбитого паркета, с возмущенных крыс, с писком разбегавшихся из-под ног.

Сейчас Слепой был готов войти в него. Дурманное поле кончилось. Он медлил, вдыхая запах мокрых листьев, когда услышал шаги. Лес мгновенно исчез. Вместе с запахами. Кто-то шуршал травой далеко впереди. Шаги приблизились, стала различима хромота идущего. От него пахло ацетоном и мятым жвачкой. Слепой улыбнулся и шагнул навстречу.

– Эй, кто здесь? – прошептал Стервятник, отшатываясь.

Чиркнула спичка.

– А-а, это ты...

– Ты спугнул мне Лес, Хромоногий, – Слепой шутил, но голос выдавал огорчение.

– О, приношу извинения, – Стервятник не на шутку расстроился. – Там за мной кто-то тащится. В тяжелом весе. Может, лучше отойти с дороги?

– Отойдем.

Они шагнули к стене. Стервятник осторожно облокотился, стараясь не испачкаться. Слепой прислонился всем телом. В глубине Перекрестка хлопнула дверь. В коридор проник лунный свет. Звук шагов и дыхание. По тропинке шел кто-то тяжелый. Продирался, стонал и сопел, обрушивая себе на спину мусор с верхушек деревьев. Горячий пар из его ноздрей ударили им в лица, и они крепче вжались в стену. Зверь остановился, тревожно втянул воздух, задрожал, и, с треском ломая сучья, понесся прочь, оставив черную полосу выверну той комьями земли. Слепой повернулся к Стервятнику.

– Это твой Слон.

– Что ты, Слепой! Слон – трусишка! Разве он выйдет ночью один? Он и днем-то боится ходить в одиночку.

– И все же это был он. Можешь проверить, если хочешь.

– Не хочу. Раз ты говоришь, значит, он. И все-таки очень странно. И нехорошо. Пойдем покурим?

Стервятник отворил дверь одного из пустовавших классов. Они вошли и, прикрыв ее за собой, сели на пол. Закурили и устроились поудобнее. Потом легли, опираясь на локти. Запахло дурманной травой. Время летело. Серый Дом затаился, онемев стенами.

– Помнишь, Слепой... Как-то ты говорил про колесо. Про большое и старое колесо, на которое столько всего налипло, что уже и не поймешь, что это колесо, но оно вертится. Медленно, но вертится. Кого-то задавит, кого-то подбросит вверх. Ты помнишь? Ты еще сказал тогда, что его движение можно угадать по скрипу задолго до того, как оно повернется.

Услышать скрип и угадать...

— Я помню. Смешной был разговор.

— Может, и смешной. Но ты слышишь скрип?

— Нет. Если оно и поворачивается, то не в мою сторону.

Стервятник кашлянул. Или засмеялся:

— Так я и знал. Странный он парень. Чего ему не хватало?

— Уже в прошедшем времени?

— Да. Он не из старых. Все дело в этом. Мы, например, кое-что знаем, пусть и не знаем, что именно. А он — нет.

— По-моему, ты запутался в словах.

— Я во всем запутался. Мир вообще странно устроен. Вот ты говоришь, что это Слон прочесал сейчас мимо, как сломанный носорог, — и что же мне с этим делать? Я ведь боюсь таких вещей. Безобидный Слон зачем-то бродит ночами и сопит... Что делать? Я расстроен, понимаешь? Надо пойти проверить его.

— Да, конечно. Иди.

Скрипнула дверь. Слепой проводил Стервятника поворотом головы, как если бы мог видеть, закрыл глаза и погрузился в теплую дрему. И сразу вернулся Лес. Навалился, задышал в уши, закопал в мох и в сухие листья, спрятал и убаюкал тихими песнями свистунов. Слепой был его любимцем. Лес даже улыбался ему. Слепой это знал. Улыбки он чуял на расстоянии. Обжигающие, липкие и острозубые, мягкие и пушистые. Они мучили его своей мимолетностью, недосягаемостью пальцам и ушам. Улыбку нельзя поймать, зажать в ладонях, обследовать миллиметр за миллиметром, запомнить... Они ускользают, их можно только угадывать. Однажды, когда он был еще маленьким, Лось попросил его улыбнуться. Он тогда не понял, чего от него хотят.

— Улыбка, малыш, улыбка, — сказал Лось. — Лучшее, что есть в человеке. Ты не совсем человек, пока не умеешь улыбаться.

— Покажи, — попросил Слепой. Лось нагнулся, подставляя лицо его пальцам. Наткнувшись на влажные зубы, Слепой отдернул руку. — Страшно, — сказал он. — Можно я так не буду?

Лось только вздохнул.

С тех пор прошло много времени, и Слепой научился улыбаться, но знал, что улыбка не украшает его, как других. Он натыкался на растянутые рты в выпуклых картинках своих детских книг, находил их на лицах игрушек, но все это не было тем, что можно поймать в голосе. Слушая улыбающиеся голоса, он наконец понял. Улыбка — это свет. Не у всех, но у многих. И теперь он знал, что чувствовала Алиса, когда улыбка Чеширского Кота парила над ней в воздухе, ехидная и зубастая. Так улыбался и Лес. Сверху, бескрайней, насмешливой улыбкой.

Слепой встал и побрел, спотыкаясь о корни. Нога провалилась в нору. Испуганно замолчал свистун. Он нагнулся, пошарил в траве и нашел его — совсем еще крошечного, нежно-бархатного, пахнущего щенком. Прижал к лицу. Свистун тихо дышал, сердце тикало в пальцы. В десяти шагах впереди раздался тревожный свист. Малыш на руках ответил писком. Слепой засмеялся и посадил его на землю. Шорох травы. Попискивая, свистун побежал к матери, и скоро их дружный свист затерялся вдали. Слепой понюхал ладонь, чтобы запомнить запах детеныша — взрослый свистун пахнет иначе, — и пошел дальше.

Он не чувствовал под собой ног, они стали чужими и гнулись во все стороны, как резиновые. Это раздражало. Скоро он устал выковыривать их из ям, вытаскивать из луж и грязи и сел. Ноги опять согнулись не в ту сторону. Их как будто даже стало больше, чем две. Возможно, он превращался во что-то, но еще не превратился до конца. До него донесся смех собаколовых. Они были далеко, бежали хихикая, соприкасаясь боками. Слепой вскочил и заковылял прочь, перебирая шестью лапками. К ним, тонким и суставчатым, липли листья, но идти было легко. Он забился в ближайшую яму и затих, выжидая. Собаколовые пронеслись мимо. Стих омерзительный хохот. Слепой осторожно высунул голову. Кто-то

ухнул сверху и обсыпал его трухой. Он отряхнулся и пересчитал ноги. Их снова было две. Духота ночи... Слепой снянул свитер и бросил его. Потом снял промокшие кеды, связал вместе шнурки и закинул их в яму.

Он шел, легонько касаясь корявых стволов пальцами, навострив уши, тонкий, бесшумный, сливающийся с деревьями; шел, как часть Леса, как его отросток, как оборотень, и Лес шел вместе с ним, качая далекими верхушками ветвей, вздрагивая и роняя росу на покоробившийся паркет.

Слепой остановился на опушке. Огромная луна окатила его серебром. Он присел, чувствуя, как его заливает светом, как поднимается шерсть, наэлектризованная белым волшебством. Прижал уши, зажмурился и завыл.

Протяжный, тосклиwyй звук поплыл над Лесом. Он был печален, но в нем было счастье Слепого, близость луны и жизнь ночи. Это длилось недолго, а потом Слепой убежал в чащу обнюхивать мшистые стволы, скакать по влажным листьям и кататься по земле. Он делал это ликуя, распугивая мелкую живность, собирая на шкуру мусор, оставляя в лужах волчьи следы... Погнался за глупой мышью и загнал ее в чужую нору. Сунул голову в дупло, оттуда на него зашипели. Разрыл чей-то подземный ход и съел обитателя – толстого и вкусного, выплюнул шкурку и побежал дальше. Луна скрылась за деревьями, но он чуял ее, как стоящего за дверью, как прячущегося в кустах, она была здесь, просто ей мешали деревья. Он перескочил ручей, не замочив лап, покружил по прибрежной кромке, нашел лужу и вылакал ее с головастиками.

Чудом уцелевшая лягушка послала ему звонкое лягушиное проклятие и ускакала искать другое убежище. Он вытянулся на мокром песке, положил остроухую голову на лапы, прислушиваясь к лесным шорохам и к журчанию в своем животе – потом вскочил и понесся по тропе дальше и дальше, потому что не любил подолгу оставаться у воды.

Скоро он опять услышал собакоголовых, но на этот раз не стал прятаться. Вместо этого он завыл, посылая им вызов, который они не приняли и поспешили скрыться, тихо переругиваясь. Некоторое время он бежал по их следам. Он догнал бы их, если бы хотел, но это была не охота, а игра, и ему больше нравилось преследовать, чем ловить. Неожиданно он резко поменял направление, как будто вспомнив о чем-то важном, и дальше бежал, не отвлекаясь, уткнувшись носом в тропу, быстро перебирая лапами. Набитый колючками хвост сигнализировал миру о его занятости.

Лес кончился. Пропал так же внезапно, как появился. Слепой не огорчился и не стал искать его. Он остановился. Точно на границе света, прямоугольником падавшего на паркет. Проем двери светился желтым. По кафелю метались лохматые тени, слышались приглушенные голоса. Учительский туалет был территорией картежников, в субботние и воскресные вечера здесь играли. В его стае картежником был только Лорд.

Слепой стоял неподвижно, в широко раскрытых глазах отражались блики свечей. Он простоял так долго. Потом закурил и двинулся дальше. Не прячась, прошел по освещенному пространству, миновал проем туалета и лунную поляну Перекрестка, двери учительской и столовой. На лестнице пахло окурками, он наступил на один, еще теплый, и пошел медленнее.

Спустился по лестнице. Еще один длинный, пустой коридор, в самом его конце – еще одна лестница и дверь в подвал. Голова закружилась, ноги разъехались на ступеньках, он удержался, схватившись за стену. Куском проволоки открыл замок и вошел.

В подвале было пыльно и душно. Слепой сел лицом к двери на цементный пол, опустил подбородок на колени и замер. Подмышки стекали в джинсы. Окурок прилип к губам. Звон в ушах. Три колокольчика и один сверчок. Он перекатился к стене, встал рядом с ней на колени и побежал пальцами по шероховатой поверхности кирпичей. За одним из них пряталась пустота. Когда-то, чтобы найти его, приходилось отсчитывать шаги от угла. Теперь он находил нужное место сразу. Слепой осторожно вытащил кирпич из стены. В открывшемся отверстии лежал газетный сверток. Он потер пальцы, стряхивая с них кирпичную пыль, и запустил обе руки в тайник. Зашуршала старая газета. Вытащив сверток,

он положил его на пол и развернул.

Внутри лежало два ножа. Слепой любил их трогать. Иногда при этом даже плакал. Когда-то здесь лежал еще маленький обезьяний череп на цепочке, но его он подарил Сфинксу, и остались только ножи.

Один ему подарили. Так давно, что он уже не помнил, когда это было, и помнил только, что всегда его прятал: сначала – чтобы не отняли, потом – просто подальше от любопытных глаз. Нож был красивый. С тонким, как шило, лезвием, заточенным с обеих сторон. Лезвие пряталось в рукоятке и выскакивало с тихим щелчком. Короткое и смертоносное, как змеиное жало. Никто не говорил Слепому, что нож красив, он и сам это знал. Он не задумывался о странностях старшеклассников своего детства, и то, что один из них подарил ребенку такую игрушку, тоже не казалось ему странным.

Вторым ножом убили Лося. Он не был ни красивым, ни удобным в руке. Обычный кухонный нож со следами ржавчины. Слепой ненавидел его, но не мог заставить себя с ним расстаться. Дотрагиваясь до него, он всякий раз содрогался, но одновременно испытывал странное, притуплявшее боль чувство невозможности случившегося. Жалкий кусок железа, лежавший на его ладони, не мог убить Лося. Мышь не съест гору, укус комара не убьет льва, полоска стали не могла уничтожить его бога. И он хранил этот нож, навещал его, прикасался к нему, только чтобы вновь и вновь проникаться неверием. Представлять, что Лось не умер, а просто исчез, растворился, отказавшись от Дома, который его предал.

Пора было уходить. Слепой спрятал свой нож в карман, второй завернул обратно в газету и опустил в тайник. Кирпич занял прежнее место. «Свитер, – подумал Слепой, – надо его забрать». Он вышел, защелкнул замок, прижал дужку, и поднялся по лестнице. На второй этаж взбежал бегом. Почти не оставалось времени. Ночь была на исходе. Лес съедал ее быстро. Коридор, двери, тишина... Вот-вот в нее ворвутся первые звуки утра, и он перестанет быть невидимкой. Представлять это было неприятно, и Слепой спешил.

Посещая Клетку

[Курильщик]

Весь день после Ночи Сказок я был как труп и только к вечеру начал оживать. Поэтапно. Сначала нашел в себе силы доехать до туалета, где повстречался с жутким красновеким существом, оказавшимся мною. Надо было что-то с ним делать, и я решил его помыть.

Македонский помог мне раздеться. Сам бы я не смог. Руки дрожали, как у пропойцы с тридцатилетним стажем. Просто не верилось, что можно так развалиться после одной-единственной пьянки. Расставшись с пижамой – она так пропахла хвоей и спиртом, что при желании ее до конца жизни можно было использовать как средство от комаров, – я посидел под душем и вернулся в спальню.

Было около шести. Я так и не научился угадывать точное время без часов. Кое-как взобравшись на кровать, я достал из-под подушки блокнот и начал рисовать все подряд. Ряд рюкзаков и сумок на спинке... Голову Табаки, торчавшую из кокона пледа, в который он завернулся. Зевавшего Лорда...

Рюкзаки получились лучше всего. Табаки было почти не видно, а Лорд отвернулся, как только заметил, что я его рисую. Так что я застриховал рюкзаки, придал им объемности и висючести, зачернил снизу и уже начал покрывать узорчиками, когда Табаки подполз поближе и чуть не лег на блокнот, заслонив от меня все, что можно было заслонить.

– Чего не рис уешь дальше? – удивился он, когда я убрал блокнот.

– Мне мешает твоя голова, – честно ответил я. – И не люблю, когда толкают под локоть.

Табаки решил обидеться. Откатился и сел спиной. Я уже знал, что дуться подолгу он не

умеет, и не обратил на это внимания. Но рисовать расхотелось. Захотелось есть.

— Есть что-нибудь съедобное? — спросил я.

Лорд кивнул на тумбочку:

— Бутерброды. Осталась пара штук. Доползешь?

Плед, застилавший кровать, никогда не лежал ровно. Вечно бугрился и морщился труднопроходимыми складками. Ползать по нему было мучением. Но я сделал попытку.

Табаки сказал, что я похож на неверную жену султана, которую закатали в ковер перед утоплением.

Лорд помог мне размотаться — протянутая рука — вручили сверток с бутербродами — бросок до тумбочки — и вернулся в свой угол — еще один бросок. Для ходячего — около двух шагов. При этом он ничего не опрокинул, не своротил и уж, конечно, ни в чем не запутался. Если вспомнить, что вчера он проделал примерно то же самое в темноте, а на кровати при этом валялась уйма народу, удивляться было нечему. Но учитывая, что на этот раз он не соизволил расстаться с журналом и даже продолжал его читать, *то есть одна рука все время была занята!* — я все-таки удивился. Я смотрел на него, не просто комплексуя. Я был готов расплакаться.

Мало что человек красив до неприличия и вытворяет невероятные вещи, так он этого еще и не замечает! Задирай он нос, подчеркивай свое превосходство, честное слово, было бы легче его переносить.

Лорд грыз заусенец и листал журнал, а с лица не сходило презрительное выражение, означавшее, что читает он полную чушь. Он витал где-то, где ему не особенно нравилось находиться, но вернуться в осточертевшую реальность был не в силах. Даже чтобы посмотреть, куда ползет, и удостовериться, что взял с тумбочки именно то, что собирался.

— Лорд, — сказал я. — Иногда мне кажется, что ты просто прикидываешься.

Он поднял на меня рассеянный взгляд.

— В смысле?

— Ну что никакой ты не колясник на самом деле.

Он передернул плечами и опять уткнулся в журнал. «Мало ли кому чего кажется». Он этого не сказал, но иногда вовсе не обязательно говорить что-то вслух, чтобы тебя поняли.

— Может, ты и впрямь потомок драконов? — сказал я. — Может, на самом деле ты летаешь, а мы не видим?

— Хочешь, объясню? — спросил вдруг кто-то.

Я оглянулся.

Это был Черный. Он лежал на своей кровати, с тетрадью под подбородком, прикусив карандаш. Похожий на крупную овчарку с тонкой косточкой в зубах.

За время проживания в четвертой я успел привыкнуть к тому, что двое здесь всегда молчат. Македонский и Черный. Правда, молчали они по-разному. Македонский молчал, как глухонемой, а Черный — со значением. «Мне лучше рта не раскрывать». Что-то в этом духе. И я так привык к этому их молчанию, что когда Черный заговорил, совершенно растерялся. Даже уронил бутерброд. Упал он, естественно, маслом вниз. И яйцом вниз.

— Чего? — переспросил я.

— Говорю, могу объяснить, — повторил Черный. — Если хочешь.

Я сказал, что хочу. И попытался вспомнить, о чем спрашивал.

Черный сел и снял очки.

Никто, кроме самого Черного, не садился на его кровать. А также не ложился, не падал, не клал на нее ноги и не зашивировал грязные носки. Никто вообще ничего туда не клал. Эта всегда аккуратно застеленная, чистая кровать казалась здесь чем-то совершенно инородным. Как и сам Черный. Как будто он в любой момент мог отчалить на ней, как на плоту, куда-то к далеким берегам. Туда, где водятся Черные.

— Все очень просто. Видишь эту кровать?

Черный указал на полку Горбача у себя над головой. Которая не поплыла бы вместе с нижним ярусом к далеким берегам.

Я сказал, что, конечно, вижу.

— А как ты думаешь, что случится, если подвесить тебя на ее спинке? Так, чтобы ты держался только руками, как на турнике.

— Я свалюсь, — сказал я.

— А до того, как свалишься?

Трудно было понять, какого он ждет ответа. Я честно представил последовательность событий.

— Буду висеть. Потом упаду. Чуток повишу, и вниз...

— А если тебя каждый день подвешивать?

Я наконец начал понимать.

— Хочешь сказать, что с каждым днем я буду висеть немного дольше?

— Молодец. Умный мальчик.

Черный снова прикусил карандаш и уткнулся в тетрадь.

— Но ведь достаточно свалиться один раз, и некого будет подвешивать. Я же не кошка.

— Вот и Лорд в свое время так думал.

Лорд отшвырнул журнал и уставился на Черного. Очень нехорошим взглядом.

— Может, хватит? — спросил он.

Я с ужасом понял, что описанная Черным ситуация, как пишут в титрах самых гнусных фильмов, основана на реальных событиях.

— Но это невозможно, — сказал я. — Это же садизм!

— Вот и Лорд в свое время так считал. До сих пор, как видишь, не любит вспоминать.

— Я спрашиваю, не заткнешься ли ты?

Лорд выглядел так, что на месте Черного я бы заткнулся как можно скорее. Но Черный был Черным.

— Остынь, — сказал он Лорду. — Красоту попортишь.

И тут началось такое, что я поверил чуть ли не в половину историй, рассказанных прошлой ночью.

Лорда швырнуло на край кровати. Оттуда, наверное, на пол, но в этом я не был уверен. Черный успел сесть. Успел даже снять очки. Вставал он уже с повисшим на шее Лордом. Дальше он пытался его от себя оторвать, а Лорд пытался его придушить, и выглядело это чудовищно.

Рычащая фигура из двух человек неуклюже покружила в проходе, понатыкалась на мебель, своротила тумбочку и рухнула на кровать, придавив Шакала. Шакал завопил.

Потом они перекатились в мою сторону. Я завороженно вжался в прутья спинки. Два искаженных лица... тяжелое дыхание... слюни... очень близко. Слишком близко. Табаки не умолкал. Сейчас они еще разок перекатятся, обреченно думал я, и привет Курильщику. Переломают мне все кости.

Они не перекатились. Черному удалось стряхнуть с себя Лорда и вскочить. Его ботинки потоптались перед моим носом, потом он спрыгнул на пол, и я наконец перевел дух.

Кого считать победителем, осталось неясным. Лорд, корчившийся у спинки кровати, выглядел хреново. Черный, вытиравший подолом майки кровь с лица и шеи, выглядел не лучше. Если судить по последнему броску — победил он. Но, судя по тому, как быстро он ретировался с кровати, сам Черный не был в этом так уж уверен.

Лучше всех выглядел недоразумленный Табаки. Сидя на двух подушках, он так цветисто ругался, что на его счет я сразу успокоился.

— Таких, как ты, отстреливать надо, — сказал Черный Лорду, когда Табаки ненадолго заткнулся. — Как бешеных собак.

— Ублюдок! — ответил Лорд. — Свинячья морда!

Черный выплюнул в кулак выбитый зуб. Посмотрел на него, стряхнул на пол и направился к двери.

На полу перед перевернутой тумбочкой валялось неимоверное количество выкатившихся из нее пузырьков с лекарствами. Уходя, Черный поскользнулся на одном и

чуть не упал. Лорду это слегка подняло настроение. Совсем слегка.

Когда вернулись Сфинкс, Македонский и Горбач, им тоже пришлось покататься на пузырьках. Лавирия между ними, Горбач донес Толстого до его ящика, усадил там и сказал, что мы здесь, как видно, неплохо развлекались.

— Неплохо? — возмутился Табаки. — Вы ребята, можно сказать, пропустили все! Это была поэма! Бой Ахиллеса с Гектором! Лопни мои глаза!

Сфинкс оглядел разоренную кровать в осколках и Лорда и сказал, что видит поле боя и труп Гектора, но нигде не видит Ахиллеса.

— И не скоро увидишь, — предупредил Табаки. — Он где-то там, не знаю где, умывается кровью.

— Понятно, — вздохнул Сфинкс. — Будем иметь в виду. — Он ссадил Нанетту на подоконник. — Хорошо хоть птицу с вами не оставили.

Следующий час я проползл под кроватями, собирая бесчисленные пузырьки и склянки. Табаки мне якобы помогал. Его восторги по поводу драки жутко нервировали. По-моему, Лорд с Черным вели себя, скорее, как животные, чем как герои древности, и выглядело это омерзительно.

— Уверяю тебя, дорогуша, герои древности вели себя не лучше, — возразил мне Шакал. — А может, даже и хуже, — добавил он задумчиво, явно освежая в памяти Гомера. Я поскорее отполз от него, пока он не начал цитировать избранные куски из Илиады. Я уже догадывался, какие именно отрывки могут у него быть любимыми.

После уборки Слепой, ощупав Лорда, сказал, что у него сломано ребро.

О Могильнике никто и не заикался. Лорд разрешил перетянуть себя эластичным бинтом и усился в обнимку с подушкой, злой, как черт. По его заверениям, бинт не давал ему дышать, а ребро — лечь, и теперь он был обречен на бессонные ночи и недостаток кислорода.

Табаки пообещал, что не оставит его в беде. И не оставил. Он пел Лорду. Он играл ему на губной гармошке. Он поддерживал его силы мерзкими настойками, в которых плавали чилийские перчики. Заодно подкреплялся сам. Так что Лорд был не одинок. Ни одна живая душа не уснула бы там, где Табаки кого-то так рьяно утешал.

Потом у Черного поднялась температура. Табаки заволновался. Сказал, что это явный признак занесенной в кровь инфекции и что дни Черного, надо думать, сочтены.

Черного тоже утешили настойкой и песнями.

В три часа ночи они запели хором.

Под это жуткое пение мне все-таки удалось ненадолго заснуть. Проснувшись, я обнаружил на кровати голого Горбача, вооруженного шваброй. Он держал ее как штык, направленный на невидимого противника и выглядевший законченным психом. Я бы, наверное, до смерти перепугался, будь мы с ним в комнате одни. Но рядом был Шакал, а в проходе между кроватями Лэри с Македонским, шепотом переговариваясь, зачем-то отодвигали от стены тумбочку. Выглядели они не лучше Горбача. Оба в трусах и в сапогах на голые ноги. Особенно хороши были сапоги Лэри с загнутыми носками.

Раскрытие настежь окна чернели ночью, дверь в прихожую тоже была распахнута и даже подперта стопкой книг. По комнате гулял сквозняк.

— Вот она! — прошептал Лэри. — Теперь не уйдет! Горбач, готовь швабру!

Горбач перестал метаться, встал по стойке смирно и ответил — тоже очень громким шепотом — что, по его мнению, ей этим можно навредить.

— Чистоплюй! — прокряхтел Лэри.

Тумбочку своротили. Лэри акробатически прыгнул куда-то между нею и стеной и, должно быть, сильно ударился. Горбач выронил швабру. Македонский вскочил на кровать.

Я окончательно убедился, что все они не в себе. Табаки снял с меня швабру и, передавая ее Горбачу, любезно поделился:

— Крысу ловим. Тебя не очень зашибло?

Меня не зашибло, но смотреть, как истребляют крысу, не хотелось. С детства не переношу таких вещей. Будь это хоть крысы, хоть пауки. Окружающих такое отношение почему-то очень веселит.

— Трусы хреновы, — сказал Лэри, вылезая из-за тумбочки. — Помощи от вас...

Горбач с Македонским заморгали. Горбач опять пробубнил что-то о том, что боялся навредить.

Я начал потихоньку одеваться.

— Куда? — изумился Табаки.

— Съезжу прогуляюсь.

— Куда ты прогуляешься? В коридорах темно!

Я про это совсем забыл, но сказал, что возьму фонарик.

— Нельзя. Там сейчас активизировались маньяки и лица, страдающие раздвоением личности. Фонарик привлечет к тебе их внимание.

Я огляделся.

— А где Лорд?

— Он-то как раз где-то там, — кивнул Табаки. — Но он среди своих, а тебе там делать нечего.

Я не стал уточнять, что он имеет в виду под «своими».

— А Сфинкс?

— Сфинкс пасет Толстого. В туалете. Чтобы ребенок не нервничал.

Горбач и Лэри, посовещавшись, начали швырять под кровать пустые бутылки. Потный, нездорового вида Черный спросил со своей кровати, дадут ли ему умереть спокойно.

— Со двора припираются, — чирикал Табаки. — Как дело к зиме — так и лезут в Дом. А кошки — те позже приходят. Гуляют до последнего. Вот и получается нестыковка.

Несчастная крыса, не вынеся бутылочной атаки, выбежала на середину комнаты и присела столбиком перед распахну той дверью. Она явно потеряла всякое соображение, потому что даже не попыталась выскоочить.

Лэри набросил на нее половую тряпку. Горбач с ревом ринулся на образовавшийся холмик, схватил его и вышвырнул в коридор. Потом пинком захлопнул дверь, рассыпав подпиравшие ее книги.

— Класс! — заорал Лэри и бросился его обнимать.

— Ну вот, — сказал Табаки удовлетворенно. — Видишь, как все быстро закончилось?

Про себя я порадовался, что не мне собирать с пола пустые бутылки. И что крыса осталась в живых.

— Как вы думаете, она не пострадала из-за того, что я ее вот так швырнул? — спросил Горбач.

— Да ладно, в тряпке летела, что ей сделается? — отозвался Лэри, которого самочувствие крысы мало беспокоило.

Табаки заверил Горбача, что крыса была абсолютно счастлива и в полете, и по приземлении. Черный опять поинтересовался, дадут ли ему упокоиться с миром.

И тут вошел Слепой с тряпкой из-под крысы в руках.

— Совсем спятили? — спросил он.

— В тебя попало? — замирая от восторга, уточнил Табаки.

— Попало.

— И ты удивился?

— Мы оба удивились.

Слепой отшвырнул тряпку и плюхнулся на кровать. Он был босой и взъерошенный, свитер повязан на шее узлом, на ногах — налипшие опилки, пальцы вымазаны сажей, и еще от него странно пахло. Сыростью и как будто травой. А вокруг губ чернела полоска грязи. Я подумал, что он пришел из очень необычного места. Похожего на то, где добываются скорлупки от яиц василисков. Еще я попробовал угадать, к какой из категорий Шакала его можно причислить — к маньякам или к страдающим раздвоением личности? В этом вопросе я

так и не определился.

Потом вернулся Сфинкс с повисшим на спине Толстым. Сел рядом со Слепым и уставился на него. Сказал:

– Вытри пасть. Ты что, землю ел?

– Не землю, – безмятежно отозвался Слепой, утираясь рукавом.

Я решил, что он, наверное, все же маньяк.

Толстый, съехав со Сфинкса, подкатился ко мне и начал дергать за пуговицы пижамы, пытаясь их оторвать. Македонский заваривал чай.

– Светает, – сказал Горбач. – Может, поспим немного?

Поспать не удалось. Через полчаса после Слепого вернулся Лорд. Рассветный эльф, обмотанный эластичным бинтом. В чужом берете, с какой-то побрякушкой на шее и еще более пьяный, чем пару часов назад. Выгрузил из карманов мятые купюры и поругался со мной, потому что моя нога каким-то образом оказалась под его подушкой. Он наговорил много обидного про мои ноги, демонстративно сменил наволочку и опять смотрелся.

Когда он уехал, я наконец сообразил, что за новое украшение болталось у него на шее. Это был зуб Черного на серебряной цепочке.

А следующую ночь я провел в изоляторе. В маленькой комнате, сплошь обитой губкой. Сверху губку обтягивал веселенький желтый ситец в цветочек. Еще здесь имелся наполовину утопленный в стене унитаз, замаскированный под мусорное ведро с откидывающейся крышкой. Тоже обитый губкой и веселеньким ситцем. И матовый плафон на потолке. Больше не было ничего. Идеальное помещение для размышлений и сна. Мне не мешало бы отсиживаться здесь раз в неделю все первые полгода пребывания в Доме. Только тогда я не знал, что это так приятно. Жители Дома давно прибрали к рукам этот курорт, и попасть сюда можно было только двумя способами. В наказание за какой-нибудь проступок или выклянчив такую возможность в Могильнике. О втором варианте я не знал. Тем более не представлял, что пребывание в Клетке можно кому-то передарить, как это сделал Табаки.

Медицинский осмотр для одной половины обитателей Дома был еженедельным, для другой – ежемесячным. Когда я жил с Фазанами, была еще категория «А» – те, кого осматривали каждый день. У Фазанов таких было шестеро, а остальные мечтали к ним присоединиться. Категория «А» давала поблажки в режиме, право на дневной сон и особое меню с диетическими салатами и витаминизированными напитками. К медицинским осмотрам готовились очень тщательно, записывая свои жалобы в специальные блокноты. В своем разграфленном на дни и часы блокноте я рисовал карикатуры, так что его у меня отобрали.

Сегодня я впервые поехал на осмотр в составе четвертой. Пока мы ждали своей очереди, Лэри соорудил на стене лазаретного коридора композицию из жеваных жвачек с окурком посередине, а Табаки изрисовал себе физиономию жуткими полосами и ромбами.

– Надо же чем-то и Пауков развлекать, – объяснил он мне. – Работа у них тяжелая, жизнь неинтересная, на оригинальный грим в стиле «КИСС» им всегда будет приятно посмотреть.

Грим в стиле «КИСС» никого не обрадовал. Скорее, вызвал подозрения. Табаки долго отмывали в процедурной, чтобы проверить, не скрывает ли он под ним следы каких-нибудь болячек. Наконец, отмытый до блеска, розовый, с мокрыми ушами Шакал выехал из процедурной, размахивая белой бумажкой, похожей на чек.

– Видали? – хвастливо поинтересовался он, демонстрируя нам этот клочок. – Любят меня здесь, чего греха таить! Я в Могильнике привилегированное лицо!

– Ну и зачем тебе это понадобилось? – спросил его Лорд. – С прошлого раза недели не прошло.

– А я подарю его Курильщику, – объяснил Шакал. – Надо же иногда делать людям приятное.

– Ты уверен, что он будет рад? – усомнился Лорд.

– Пусть только попробует не обрадоваться!

Я слушал их, абсолютно не понимая, о чем идет речь. Понял только, что обязательно должен обрадоваться чему-то, что преподнесет мне Табаки. Поэтому, когда он подъехал и всучил мне свою скомканную бумажку, я постарался изобразить радость. Наверное, мне это удалось. Табаки, во всяком случае, остался доволен.

– Курильщик просто счастлив, – сообщил он Лорду. – А ты думал, он не оценит. Плохо же ты разбираешься в людях.

И он рванул на своем Мустанге к выходу, а я спрятал подарок в кулаке и поехал следом.

На площадке, которую называли Предмогильной, я задержался, пытаясь разобрать, что написано в бумажке. Остальные ушли и уехали вперед. То, что я так и не смог прочесть, больше всего смахивало на неряшливо выписанный рецепт. Отчаявшись понять, что в нем написано, я решил, что стоит, наверное, вернуться в Могильник и расспросить Пауков. Может, это что-то вроде Фазаньих привилегий, зачем-то подтвержденных письменно. Но тут рядом возвился Черный. Он не стал спрашивать, рад я или не рад. Должно быть, по мне было видно, что я никак не разберусь со своим подарком. Он просто отобрал бумажку и сказал:

– Это направление в изолятор.

Первая мысль была – Черный шутит. Вторая – Табаки устроил мне страшную пакость.

– Так я и знал. Ты не в курсе, – вздохнул Черный. – Слушай, это, конечно, не мое дело, но ты всегда вот так хватаешь, что дают?

Он возвышался надо мной, как башня. Большой. Взрослый. Флегматичный. Будь на его месте любой другой, я решил бы, что это розыгрыш.

– Вообще-то не хватаю, – сказал я. – Табаки уверял, что это подарок.

– Подарки Табаки надо на свет рассматривать, прежде чем берешь их в руки, – посоветовал Черный. – Ладно, в другой раз будь осторожнее. – Он вернул мне бумажку и пошел к лестнице.

– Эй! – окликнул я его в панике, – погоди, Черный!

– Ну? – он остановился, немного недовольный, как будто разговорами я отвлекал его от важных дел.

– Почему Табаки так со мной? Что я ему сделал?

Черный смотрел хмуро, жевал резинку, и думал.

– Почему? Ну, вообще-то, он считает, что это здорово – попасть в Клетку. Что это приятно.

– Что в этом приятного? – возмутился я.

Если верить Фазанам, Клетка была чем-то вроде тюремной одиночки для особо опасных преступников. А в некоторых вопросах я их мнению доверял.

– Что приятного? – манера Черного медленно повторять заданный ему вопрос, человека нетерпеливого могла бы свести с ума. – Ну, понимаешь, там тихо. Никого нет и очень тихо. Звукоизоляция. На самом деле совсем неплохо. Я, например, люблю там бывать.

– Слушай, – заторопился я, – если ты это любишь... Может, я отдаю тебе эту бумажку, и ты отправишься в изолятор вместо меня?

Черный покачал головой:

– Не выйдет. Там значится отправка колясника. Можешь поменяться с Лордом. Или с самим Табаки.

Он ушел, оставив меня в растерянности. Всю дорогу до спальни я думал, что делать: смертельно обидеть Шакала или посидеть в изоляторе? По всему выходило, что лучше второе. Перетерпеть немного и забыть об этой истории. Про Табаки я отчего-то твердо знал, что он ничего не забывает и не прощает. Откуда у меня взялась эта уверенность, я не понимал, но, подъезжая к четвертой, твердо решил не отделяться от подарка. Если Табаки уверен, что сделал мне приятное, не стоит его разубеждать.

А он был в этом уверен. Сияющий и деловитый, он штопал рукав джинсовой куртки, о

которой тут же сообщил, что это специальная «клеточная» куртка, для «отправляемых туда», и что мне следует немедленно ее надеть, а то вдруг я не успею этого сделать, и вообще «мало ли что».

Куртка оказалась тяжелой, как будто ее подбили жестью. Табаки дал мне ее подержать, но тут же отнял и, расстелив на кровати, начал демонстрацию «тайн для посвященных». Македонский, Лэри и Горбач столпились вокруг, с интересом наблюдая. Я почувствовал себя ребенком, которого всей семьей готовятся отправить на карнавал.

Куртка состояла из двух. Подкладка была такой толстой, что вполне тянула на отдельную куртку. Она крепилась при помощи потайных змеек и пуговиц и снималась целиком. Шакал дважды продемонстрировал механизм ее извлечения. В куртке без подкладки располагались основные тайники. В подбитых плечах – две жестянки с сигаретами. В локтях – коробочки с таблетками. «От головной боли, от бессонницы, от поноса, – скороговоркой перечислял Шакал. – Инструкции здесь же. Все различаются по цветам». В полах куртки прятались две зажигалки и две пепельницы. «А то многие, знаешь ли, гасят сигареты прямо об пол, а там легко воспламеняющийся интерьер».

– Вообще ты там поменьше кури, – вмешался Горбач. – Задохнешься. Никакой вентиляции.

– Ну какая-то дырка под потолком там все-таки имеется, – возразил Лорд, свесившись с края кровати. – К тому же Курильщик не трубку собирается курить.

– Дым от трубы не так токсичен, – немедленно завелся Горбач. – Его больше, но он не воняет.

– Сматывая на чай вкус.

– Тихо! – оборвал их Табаки. – Я даю важные инструкции, попрошу не встrevать с дурацкими замечаниями.

Подкладка вернулась на место, тайники скрылись.

– Далее... – Табаки назидательно поднял палец. – Слой второй – неконтрабандный. Смотри внимательно, лишнее сейчас уберем. Хотя, честное слово, там нет ничего лишнего.

Неконтрабандный слой состоял из плеера, десяти кассет, плитки шоколада, блокнота со стихами Шакала, мешочка с орехами, трех амулетов, шахматного набора, запасных батареек, колоды карт, гармошки и четырех книжек карманного формата, затрапанных до невозможности. Неудивительно, что, надев эту куртку, я едва мог дышать. И хотя Табаки сам предложил вытащить все лишнее, он очень неодобрительно отнесся к тому, что я решил оставить гармошку и карты.

– Я не умею играть на гармошке, – втолковывал я ему.

– Самое время научиться!

– Я не раскладываю пасьянсы!

– Я дам тебе самоучитель!

С подоконника соскочил Сфинкс и присоединился к нам. Горбач вытащил из левого кармана куртки две зачертевшие булочки. Табаки посмотрел на них с грустью.

– Не так уж давно они там лежат. Вполне можно было бы погрызть.

– Хватит, Табаки, – сказал Лорд. – Кому сидеть в изоляторе, тебе или Курильщику?

– Ему! – вскинулся Шакал. – Но он в этом деле новичок, пусть прислушается к мнению более опытных состайников!

Я выковырял из нагрудного кармана пачку листов с кроссвордами, еще один блокнот и ручку.

– Это мое, – протянул за ними руку Лорд. – Можешь оставить, я не обижусь.

Обрадованный, я передал ему ворох бумажек и взялся за книжки.

– Стихи скандинавских поэтов, – прочел я.

– Если ты не любитель, я их заберу, – с готовностью предложил Горбач.

Я вдруг сообразил, что в клеточную куртку внес свой вклад каждый, кому доводилось сидеть в изоляторе. Поэтому она и стала такой неподъемной. Здесь было собрано все то, что каждый из них считал для себя полезным. И тут меня потряс Лэри. Он безразлично качался

на каблуках своих жутких сапог, наблюдая потрошение куртки, и вдруг сообщил:

— А я вот ни разу ТАМ не был. У меня это, знаешь... клаустрофобия. Мне даже в лифт нельзя...

Я так удивился, что не нашелся с ответом. В первый раз Лэри со мной заговорил. Вернее, не в первый, но в первый раз по-человечески. Как со своим.

— Ага, — только и сказал я. — Понятно.

— Да и вообще я ЕГО боюсь, — шепнул он, придвигнувшись поближе. — Всякое рассказывают. Ты — молодец. Не струси.

— Эй! — возмутился Табаки. — Что еще за упаднические разговоры перед отправкой? Человека, можно сказать, на отдых снаряжаем! Отойди от него Лэри, не стой с похоронным видом!

Лэри послушно отошел. Табаки начал объяснять, что изоляторов два. Синий и желтый. Что синий не для слабонервных личностей, зато закаляет дух, а желтый и вовсе радует душу.

— В синем начинается депрессия, а в желтом воняет мочой, потому что там слив заедает, — перебил его Сфинкс. — Это удовольствие только для того, кто мечтает побить один. Ты мечтал о таком, Курильщик?

— Уже мечтаю, — пропыхтел я, изнемогая под тяжестью чудо-куртки. Я не мог в ней даже руки согнуть. Мешали тайники в локтях. — А скоро... за мной придут?

Пришли довольно скоро.

Напоследок, когда меня уже вывозили, как неподвижную куклу, удивил Македонский. Подбежал и протянул мне фонарик:

— Говорят, там гасят свет по ночам. Возьми, вдруг захочешь что-нибудь найти в темноте.

Это было больше, чем я слышал от него за все шесть дней в группе.

Руки не сгибались, но пальцы работали, и я схватил фонарик. При этом успел увидеть глаза Македонского. Они были цвета чая. В крапинку.

Еще я успел сказать «пока!» всем остальным. Умиленно махавшему мне Шакалу. Топтавшемуся у двери Лэри. Лорду, кивнувшему с кровати. Сфинксу, сидевшему на ее спинке. Горбачу. Всем...

Ящики, как их называли, дежурили на первом по двое на смену. Перетаскивали всякие тяжести, если было чего таскать, перевозили колясников, если считалось, что колясник может отказаться против перемещения, подметали двор, чинили то и это, а иногда зачем-то с мрачным видом пробегали по коридорам с пустыми носилками. Еще они стерегли входную дверь вместо сторожа, который стерег дверь на третий этаж. Но в основном они спивались. Ящики были любимыми персонажами местных анекдотов, которые пересказывали даже Фазаны.

Тот, которому пришлось сопровождать меня, не годился уже и для анекдотов. Старый пьяница с трясущимися руками и шаркающей походкой. Его дыхание ужасно меня беспокоило. Все время казалось, что он вот-вот скончается, не доставив меня куда надо, и я останусь на третьем в неподъемной куртке до выяснения обстоятельств его смерти. К счастью, он дотянул.

Мы пересекли весь коридор третьего, и в узкой комнатушке между двумя одинаковыми дверями он велел мне вывернуть карманы.

— Не могу, — честно признался я. — Руки не сгибаются. Вы уж как-нибудь сами.

Ящик счел это провокацией.

— Я не вчера родился, мальчик, — сказал он укоризненно. — Года мои не те уже, чтобы играть в ваши игры. Давай, проезжай...

Так я остался необъсканным. Как только он запер за мной дверь, я выбрался из куртки. И растянулся на губчатом полу, наслаждаясь свободой. Просто лежал, глядя в потолок.

Примерно через полчаса до меня дошло. Я совсем один. И так будет еще долго. Табаки сделал мне хороший подарок. Просто я не сумел его сразу оценить.

Я уже было задремал, но вспомнил, что говорил Македонский про свет, и заставил себя встрихнуться. Надо было подготовиться. Я не был уверен, что справлюсь с тайниками куртки в темноте, даже с фонариком. Я сел и, подтащив ее к себе, начал потрошить. Вытаскивал все подряд и раскладывал по кучкам. Не успел распределить и половину вытащенного, как захотелось курить. Пришлось вытряхнуть все, что осталось, и заняться подкладкой. Которая держалась не меньше, чем на ста кнопках. Наконец я добрался до сигарет. Свернув куртку валиком, подложил ее под спину и закурил.

«Стихи скандинавских поэтов», «Стеклянный ключ» Дэшила Хеммета, «Книга Экклезиаста с комментариями», «Моби Дик». Все четыре книжки зачитаны до дыр, из всех выпадают страницы. Из «Стеклянного ключа», кроме того, вывалились заметки Шакала и ссохшийся кружок колбасы. «Моби Дик» был библиотечный. Из карточки выяснилось, что выдали его Черному два года назад. За краем клеенчатой обложки торчали две фотографии и куча записок. Я спрятал записки обратно и принялся рассматривать фотографии.

На одной был Волк. Парень, который умер в начале лета. Я к тому времени прожил в Доме всего месяц, поэтому плохо его помнил. Худой, с взъерошенными волосами, он смотрел исподлобья. В одной руке – незажженная сигарета, другая – на струнах гитары. Лицо серьезное, как будто он знает, что с ним случится, хотя на самом деле у каждого есть такая фотография, о которой в случае чего можно сказать: «Он знал», – просто потому, что человек не соизволил вовремя улыбнуться. Конкретно эта фотография задумывалась смешной. На голове у Волка сидела какая-то пичуга, и, судя по всему, снимавшему это показалось забавным. Правда, птицу было видно не очень хорошо. Сверху свешивался край одеяла в полоску. Я догадался, что Волк сидит на общей кровати, что Лэри свою, как всегда, не заправил и что снаружи, скорее всего, лето. Приглядевшись получше, опознал в незнакомой птице Нанетту. Совсем еще птенца. И поежился.

Нанетту подобрали в начале июня, значит, до смерти при невыясненных обстоятельствах парню с фотографии оставалось совсем немного. Но дело было не в этом. Не в том, что он умер, и не в том, как это произошло, а в том, как он выглядел. Он был дома. У себя дома. Я в четвертой никогда таким не стану. Для этого нужно прожить в ней несколько лет.

Волк был частью четвертой, но при мне никто в группе о нем не упоминал. Ни об одной вещи не говорилось, что она принадлежала ему. Честно говоря, я совсем о нем позабыл. Фазаны страшно носились со своими покойниками, и я успел привыкнуть к такому их отношению. Две фотографии в траурных рамках в классе. Две неприкословленные чашки в застекленном шкафчике в спальне. В туалете – два никем не используемых крючка для полотенец. Покойники первой проживали в ее комнатах наравне с живыми. Их цитировали, о них вздыхали, их родителям посыпали поздравительные открытки к праздникам. Я никогда их не видел, но знал об их вкусах и привычках все. Волка же как будто никогда и не было в четвертой. Эта фотография оказалась первым и единственным его следом, который мне попался.

Я достал вторую сигарету и закурил. Чтобы отделаться от грустных мыслей, начал перелистывать «Стеклянный ключ» и незаметно втянулся. На четвертой сигарете спохватился, что слишком много курю. Пересчитал свои запасы. Сигарет осталось шестнадцать. Подумалось, что если сейчас кто-нибудь войдет, например, с обедом, он сразу почует, как здесь накурено. И все унесет. Поэтому я оставил три сигареты на случай обыска, а остальные спрятал обратно в куртку, кое-как замаскировав подкладкой. Потом немного прибрался, снова лег на куртку и взял вторую фотографию.

Группа детей на ступеньках дворового крыльца. Стоят, сидят и висят на перилах. День, должно быть, жаркий, лица запятнаны солнечными бликами.

Приглядевшись, я узнал многих. Первым – Черного. Тяжелый взгляд, белобрысая челка, квадратный подбородок – все на месте. Конечно, щуплее и щекастее, чем теперь, но мне он показался даже более мрачным.

Потом я нашел Горбача, Слона из третьей и Кролика из шестой. Кролик почти не

изменился. Горбач прятался за мотоциклетными очками и прижимал к груди арбалет. Слон возвышался над всеми улыбчивой глыбой, как многократно увеличенный пупс. Из кармана его комбинезона высовывался резиновый жираф.

Я решил, что нашел ужасно увлекательное занятие.

Следующим я опознал Слепого. Босой, он сидел на корточках в самом углу снимка, так что край срезал ему полголовы. Верхняя пуговица рубашки приходилась чуть ли не на пупок, волосы свисали до ноздрей. Встань он, и его клетчатая рубашка, наверное, свесилась бы ниже колен. Странно, что воспитатели позволяли кому-то разгуливать по Дому в таком виде.

Я искал Сфинкса, но не нашел.

Зато нашел нежного, как ангела, Красавицу, с дохлым видом болтавшегося на перилах. И Соломона из второй. Еще не ту жирную Крысу, каким он стал сейчас, но уже вполне припухшего крысенка.

Потом я узнал Лэри и расхохотался, поперхнувшись дымом. Нелепый, лопоухий, худющий Лэри. Он стоял, гордо отставив ногу с неимоверным количеством ссадин на коленке, и, глядя на него, ни один оптимист не стал бы нудить на тему «счастливого детства», потому что у таких носатиков его не бывает. Рядом с Лэри в точно такой же позе стоял второй носатик с глазами навыкате. Несомненно, Конь из третьей. Никто из тех, кого я узнал, не вызвал у меня такого восторга, как Лэри. Я к нему теперь испытывал почти что нежность. Нелегко живется на свете маленьким Логам. От этого они вырастают агрессивными. Страдают клаустрофобией. И заиканием. Оттого что их никто не любит. Они не умные, и не обаятельные, и не симпатичные. Лэри и Конь стали моей последней находкой. Сфинкса я так и не обнаружил.

Два совершенно одинаковых блондина в полосатых безрукавках кого-то мучительно напоминали. Мальчуган с идеально круглой головой на переднем плане тоже был на кого-то похож. Я вертел фотографию так и эдак, примеривая лица детей на разных жителей Дома, но пятерых так и не опознал. Наконец мне это надоело, и я начал разглядывать ее просто так.

Компания в целом была одичалая. Грязноватая. Обросшая. Наверняка с глистами. Таких не заставишь выглядеть прилично, но, по крайней мере, никто никому не делал рожки и не строил гримас. Они старались выглядеть посолиднее. Хотя, кажется, понимали, что у них это не особо получается.

Амулеты, защитные талисманы и всякая нашейная дребедень уже тогда были в моде. Всего я насчитал шестнадцать мешочеков, плюс когти, зубы и кости, связками и по одному экземпляру, гайки, болты, гвозди, кроличьи лапки и разнообразнейшие хвосты. У Лэри с Конем преобладал металлом. Слон был увенчан колокольчиками, блондинистые близнецы – ключами. Наткнувшись на эти ключи, я вдруг сообразил.

Зажмурился и посмотрел еще раз...

Ну конечно! Круглые, стылые глаза, крючковатые носы... это маленькие Стервятники! До того похожие, что я даже не попытался угадать, который из них настоящий.

Интересно, куда подевался второй? Мелькнула мысль что вообще-то и одного Стервятника в Доме вполне достаточно, но тут же, вспомнив вечный траур третьей, я устыдился этой мысли.

Может, Птицы носили траур не по близнецам Стервятника. Может, им просто нравился черный цвет. Если честно, я и не хотел знать, в чем там дело. В любом случае, никакого брата у Стервятника в Доме не имелось, и думать, что это хорошо, мерзкое дело.

Я отложил фотографию и взял первую, с Волком. Порассматривал. Лег и уставился в потолок.

В каждой комнате Дома обитали свои покойники. В каждом шкафу догнивал свой неупоминаемый скелет. Когда привидениям не хватало комнат, они начинали слоняться по коридорам. Против нежеланных гостей на дверях рисовали охранные знаки, а на шеи вешали амулеты. Своих любили и задабривали, с ними советовались, пели им песни и рассказывали сказки. А они отвечали. Надписями на зеркалах мылом и зубной пастой. Рисунками на

стенах фиолетовой краской. Шепотом в уши – отдельным избранным, когда те принимают душ или имеют смелость заночевать на Перекресточном диване...

Эта мешанина из Фазаньих баек, суеверий, дурацких пословиц и поговорок крутилась у меня в голове, приобретая все более дикие очертания. А когда я наконец справился с ней, то к своему удивлению понял, что теперь чуть лучше знаю Дом. На крупинку. Во всяком случае, понял многое, чего не понимал раньше. Страсть жителей Дома ко всяким небылицам родилась не на пустом месте. Так они превращали горе в суеверия. Суеверия в свою очередь превращались в традиции, а к традициям быстро привыкаешь. Особенно в детстве. Попади я сюда лет семь назад, может, и для меня общение с призраками было бы в порядке вещей. Я бы сидел на старой фотографии Черного с самодельным луком или рогаткой, торчавшей из кармана, гордился амулетом от полтергейста, выменянным на серию марок, боялся бы каких-нибудь определенных мест в определенное время суток и ходил бы туда на спор. Может, в результате я довел бы себя до заикания, но жизнь моя была бы довольно интересной, чего не скажешь о настоящей, прожитой не здесь. Мне даже стало обидно, что это дикое, не мое детство прошло мимо. В нем не было ни рек, ни лесов, ни заброшенных кладбищ, но ведь и в настоящем моем детстве их не было. Зато я знал бы все законы и правила Дома, умел рассказывать дурацкие сказки, играть на гитаре, расшифровывать настенные надписи, гадать по куриным костям, помнил бы все предыдущие клички старожилов и, может быть, даже любил бы это ветхое здание, как никогда не смогу его полюбить. Чем дольше я обо всем этом думал, тем становилось грустнее. Я достал последнюю неспрятанную сигарету, закурил и стал смотреть, как дым уплывает к плафону, рассеиваясь в его свете.

ДОМ Интермедиа

Могильник – это Дом в Доме. Место, живущее своей жизнью. Он на много лет моложе – когда его строили, Дом успел обветшать. О нем рассказывают самые страшные истории. Его ненавидят. У Могильника свои правила, и он заставляет им подчиняться. Он опасен и непредсказуем, он ссорит друзей и мирит врагов. Он ставит каждого на отдельную тропу: пройдя по ней, обретешь себя или потеряешь. Для некоторых это последний путь, для других – начало пути. Время здесь течет медленно.

Кузнецик смотрел в окно на снежные завалы и черные фигурки людей, которые брели по голубому. Утро в лазарете начиналось с обходов, затемно. Гудки машин, пробирающихся по обледенелым дорогам, топот ног в коридоре, свет в окнах домов – все указывало на утро. А если верить небу, была еще ночь. Уроки отменили из-за снегопада, и население Дома второй день праздновало неожиданные каникулы. Окна лазарета выходили на двор. Каждое утро и каждый вечер Кузнецик взбирался на подоконник и смотрел, как мальчишки играют в снежки и строят белые крепости из сугробов. Он узнавал их по курткам и по шапкам. Голоса не проникали сквозь двойные стекла.

Прошло уже две недели с тех пор, как его отправили на протезирование. Кузнецiku казалось, это займет несколько часов. Ему дадут руки – не настоящие, но на что-то годные – и отпустят. Только попав в лазарет, он понял, как мало знал о таких вещах.

Лазарет ему понравился. Размеренной жизнью, чистотой и покаем. Здесь его не донимали мальчишки Хламовника, сестры были приветливы, сам Могильник, светлый и тихий, казался лучшим местом в мире. Лось приносил ему книги и делал с ним уроки, как в первые дни в Доме. Кузнецик не понимал, чем это место заслужило дурную славу. Почему его называли по-страшному – Могильником? До того как он сюда попал, это слово пугало и его.

Все было хорошо. Потом он начал скучать. Особенно когда выпал снег. Ему не хватало Слепого. И еще чего-то. Заскучав, Кузнецик бросил книги и перебрался на подоконник.

Сестры его сгоняли, он залезал обратно. Он послушно делал с протезами все, что полагалось, зная, что эти навыки ему вряд ли пригодятся. Его предупредили – с протезами надо обращаться бережно, и он понял, что не станет их носить. Их поломают в первой же драке. Нарочно или случайно. Его пребывание в Могильнике не имело смысла. Поэтому он скучал и смотрел в окно.

– Как лесной зверек на привязи, – сказала сестра, входя в палату. – Скоро уже вернешься к своим дружкам, не беспокойся. И играть с ними будет удобнее, чем раньше.

Он ждал, что его опять сгонят с подоконника, но сестра устала делать замечания.

– Соскучился? – спросила она жалостливо.

– Нет, – ответил он, не оборачиваясь.

Было уже совсем светло, и сестра выключила свет. До него доносилось постукивание тарелок и скрип передвигаемых тумбочек. Двор был пуст, пусты были наружные улицы и развалины снежных крепостей. Сестра ушла – стукнула дверь – и все затихло. Потом кто-то вошел, встал у него за спиной и спросил:

– Как, интересно, кошки ходят по снегу, если снег выше кошек?

Голос был незнакомый, но Кузнечик не обернулся.

– Прыгают, – сказал он, глядя во двор.

– Каждый раз проваливаясь с головой и высакивая обратно? А может, они роют тоннели? – рассмеялся неизвестный. – Как кроты?

Кузнечик обернулся. Рядом стоял незнакомый мальчишка и смотрел мимо него в окно. Губы его дрожали от смеха, глаза были серьезны. Больше всего Кузнечика удивил его наряд. Верх – от белой лазаретной пижамы, низ – обтрепанные синие джинсы. И почти черные от грязи кеды на босу ногу. Шнурки не завязаны. Волосы на лбу вымазаны чем-то белым. Он не был похож на больного. И ни на кого из знакомых Кузнечику мальчишек. Больным полагалось лежать в чистых кроватях, а ходячим и здоровым – не бегать по Могильнику и не заходить в чужие палаты. Но самым странным было не это. Где в Могильнике (вылизанном до блеска) можно найти столько грязи, чтобы перепачкать ноги?

– Снежные кроты, – задумчиво сказал мальчишка. – Зимой роют тоннели, летом превращаются в кошек. Весной, только превратившись, вылезают из-под земли и громко орут. Мартовские кроты. У них очень мерзкие голоса...

Кузнечик соскочил с подоконника.

– Ты кто? – спросил он.

– Узник Могильника, – ответил гость. – Вырвал из стены кольцо, к которому был прикован, скинул ржавые цепи и поспешил сюда.

– Почему сюда?

– А я вампир, – признался гость. – Пришел попить свежей крови. Ты ведь не откажешь больному человеку, дитя?

– А если откажу?

Мальчишка вздохнул:

– Тогда я умру на твоих глазах. В муках.

Кузнечику стало еще интереснее.

– Ладно. Пей. Только немного. Не до смерти. Если ты так умеешь.

– Благородное дитя, – сказал мальчишка. – Сегодня я сыт и я отвергаю твой дар. Тела покусанных сестер выстилали мне путь от темницы до самых твоих дверей.

Кузнечик живо представил, как это выглядит. Одна сестра, вторая, третья... и все лежат укушенные, закатив глаза.

– Весело, – сказал он.

– До безумия, – согласился гость. – Слушай, ты меня не спрячешь? За мной погоня. С осиновыми кольями.

– Спрячу, конечно, – обрадовался Кузнечик. – Только, – он оглядел палату, – только здесь негде. В тумбочке ты не поместишься. А под кроватью будет видно...

Гость усмехнулся:

— Не бойся, великодушный отрок. Старый кровопийца знает, что делает. Ты не против, если твоя кровать станет чуть повыше?

Кузнечик замотал головой. Мальчишка подошел к кровати и завертел какую-то ручку. Кровать приподнялась. Гость заглянул под нее и остался доволен.

— Там резинки, — объяснил он. — Удобная штука, если не очень тугие, — он подошел к Кузнечику и внимательно оглядел его. — Ты мне нравишься, отрок, — сказал он серьезно. — А теперь простимся.

— Уходиши, — грустно протянул Кузнечик.

Мальчишка подмигнул. Глаза у него были карие — такие светлые, что казались оранжевыми.

— Всего лишь под кровать.

Он помахал рукой и, встав на четвереньки, скрылся под матрасом. Покопошился, чертыхаясь, и исчез.

Кузнечик побежал к кровати и прислушался. Было очень тихо. Только нагнувшись к полу, можно было различить еле слышное дыхание гостя. Съедаемый любопытством, Кузнечик вернулся на подоконник. Если сестрам вздумается проверить палату, они должны увидеть его в привычной позе. Он положил подбородок на колено и уставился в стекло, не видя ни двора, ни высывавших играть мальчишек. Он боялся, что, если кто-то войдет, его выдадут горящие щеки и стук сердца.

В положенное время за ним пришли и отвели его в игровую комнату, где ждали протезы и задания, которые нужно было с их помощью выполнять. Кузнечик не выполнил ни одного. Когда он вернулся, его ждала сестра с обедом, и проверить, остался ли «вампир» на прежнем месте, не удалось. А после обеда пришел Лось.

— Как живает мой ученик? — спросил он, входя. В руках у него была стопка книг. В белом халате он казался еще выше.

— Болтает, как попугай, — пожаловалась сестра Агата, вытирая Кузнечику рот. — Почти ничего не съел, — она подняла поднос, демонстрируя Лосю тарелку с развороченным пюре и растерзанной котлетой.

Кузнечик действительно говорил без передышки. Он боялся пауз и тишины. Боялся, что сестра услышит что-нибудь и заглянет под кровать. Он не был уверен, что гость все еще там, но не хотел рисковать.

— Странно, — сказал Лось, заглядывая Кузнечику в лицо. — Он не болтун. Хотя и плохо ест.

— Сегодня он болтун, — возразила сестра, переставив поднос на тумбочку и накрыв его салфеткой. — Попробуйте сами. У меня голова разболелась от этого ребенка и его историй. В жизни не слышала столько чепухи.

— Попробую.

Лось сел на кровать и сложил книги на стул. Кузнечик в белоснежной пижаме болтал ногами, глядя в потолок.

— Ангелочек, — умилилась сестра. — Я уж думала, он у нас заскучал. Но сегодня он просто расцвел. Говорит и говорит, прямо не может остановиться.

— С чего бы это? — усмехнулся Лось.

Кузнечик покосился на него и пожал плечами.

Лось вдруг посерезнел:

— Новости о беглеце есть? — спросил он сестру.

Сестра нахмурилась и перешла на шепот:

— Никаких. Вероятно, он уже за пределами Дома. Доктор просто с ума сходит. Просил вас обязательно зайти.

Кузнечик навострил уши, с деланным интересом рассматривая корешки принесенных Лосем книг.

— Обязательно зайду, — сказал Лось. — Это серьезная проблема.

— Да, — вздохнула сестра, вставая. — Уж куда серьезнее. Попробуйте покормить его.

Может, вас он не заговорит до смерти.

Она вышла, оставив поднос с обедом.

Лось повернулся к Кузнечику:

– Скажи малыш, к тебе случайно не заходил мальчик с седой челкой и в синих джинсах? Примерно твоего роста?

– Нет, – сказал Кузнечик, честно глядя Лосю в глаза. – Не заходил. А что?

– Ничего, – Лось рассеянно улыбнулся потолку. – Если вдруг увидишь его, передай, что он доставляет всем очень много хлопот. Мне в том числе.

Кузнечик кивнул.

– Обязательно передам, если увижу. А что он сделал?

Лось зачем-то приподнял салфетку, разглядывая содержимое обеденного подноса.

– Много всего. Хватило бы на десятерых. Ты будешь есть?

– Нет, – сказал Кузнечик. – Может быть, позже. Сейчас не хочу.

– Хорошо, – Лось встал. – Пойдем, одену тебя. Прогуляемся. Надо дышать свежим воздухом время от времени.

Кузнечик нехотя сполз с кровати. Лось вытащил из кармана ключок бумаги, расправил его и положил на подушку.

– Письмо тебе, – сказал он. – Читай и пошли.

Кузнечик посмотрел на мятый листок, где красовалось одно-единственное слово: «Скучно». Зная Слепого, можно было сообразить, что это означает «мне скучно без тебя». Слепой без него скучает!

Кузнечик тихо вздохнул от удовольствия, и листок взлетел с одеяла, как бабочка.

– Спасибо, – сказал он Лосю. – Его там не обижают без меня?

– Не знаю, – Лось выглядел усталым. – Я ведь почти ничего про вас не знаю.

Они гуляли по лазаретному балкону, защищенному от ветра покатой крышей. Лось пересказывал новости Хламовника, Кузнечик слушал вполуха. С прогулки Лось отвел его на второй сеанс тренировки с протезами. Потом в холле лазарета была вечерняя программа по телевизору, которую разрешалось смотреть через день. Потом – ужин с сестрой Марией (потолще и помладше сестры Агаты), и на этот раз Кузнечик ел молча, уверенный, что гость давно ушел. Ни у какого вампира не хватило бы терпения столько времени провисеть под кроватью.

– В девять зайду выключить свет, – предупредила сестра. – И не сиди на подоконнике. Все равно уже темно.

Как только за сестрой закрылась дверь, Кузнечик скатился на пол и заглянул под кровать. «Вампир» лежал на полу и смотрел ему в глаза.

– Ой, – сказал Кузнечик. – Ты не висишь? Она же запросто могла тебя увидеть!

Гость выполз медленно, как черепаха, и сел, кривясь от боли.

– А ты повиси на этих резинках часа четыре, – буркнул он. – Конечно, я делал передышки, когда никого не было. И даже поел. Но, по-моему, – сказал он с беспокойством, – Лось меня вычислил. Он зашел и проверил поднос. А я почти всю котлету съел.

Кузнечик засмеялся. Очень смешно было представлять вампира, тайно поедающего его котлету. И Лося, который эту котлету проверяет, обнюхивая тарелку. Но почему он не заглянул под кровать? Наверное, не знал, что там можно спрятаться.

– Смейся, смейся, – сказал «вампир». – Веселись. Тебе, конечно, трудно представить, каково это – висеть на резинках, ощущая дыхание осинового кола у самого сердца. Из-за одной несчастной скукоженной котлеты. Чего ты заходишься, интересно?

– Коля не дышат, – заикаясь от смеха, прошептал Кузнечик.

«Вампир» поморщился:

– Это оборот речи, мальчуган. В прошлый вторник мне стукнуло триста тридцать лет – имею я право заговариваться, как ты думаешь?

– Имеешь, – признал Кузнечик. – Мне нравится, как ты заговариваешься.

— Посмотрим, как тебе понравится сегодняшняя ночь. Я намерен вернуть свой истинно дряхлый облик и послушать твои мольбы о пощаде, прежде чем мои зубы вонзятся в твою плоть!

«Вампир» вдруг устало вздохнул.

— Слушай, а можно, я немного полежу на твоей кровати? Я весь одеревенел. Ничего, что я грязный? — он скинул кеды и вытянулся на кровати. Ноги его были грязнее обуви. Кузнецик сел рядом. Вампир скривился.

— Что-то спина болит, — сказал он грустно.

— Это потому, что ты старый, — предположил Кузнецик.

— Ты думаешь? — «вампир» лежал очень бледный, и Кузнецик испугался.

— Может, позвать сестру? — спросил он робко.

«Вампир» открыл один глаз:

— Полакомиться?

— Нет. На помощь, — расхохотался Кузнецик.

«Вампир» улыбнулся:

— Не надо. Я настроился преболтать с тобой всю ночь и приятно провести время, а не получать помощь от сестры. Давай начнем прямо сейчас. Расскажи, что там делается в Доме? Я так соскучился по немогильной жизни.

— Нет, — Кузнецик влез на кровать с ногами. — Сначала ты расскажи. А потом я расскажу все, что захочешь. Я весь день про тебя думал. Больше не могу терпеть.

— И что ты думал? Наверное, какой он симпатичный — этот вампир?

— Я думал… — Кузнецик смутился. — Что ты такого натворил, о чем говорил Лось? И почему сбежал и прячешься?

«Вампир» помрачнел.

— Я просто так сбежал. Все равно без толку. Уже четыре раза сбегал. Думал, если всех здесь как следует достать, может, они меня отпустят. Даже пожар устроить пробовал. Но на них ничего не действует. То есть я их все-таки довел, в последнее время меня запирали. В этот раз я сбежал только из-за этого. Пусть не думают, что они умнее. Пока я здесь, спокойной жизни у них не будет.

— Как же ты сбежал? — благоговейно спросил Кузнецик. Гость на глазах обретал героический ореол мученика.

— Друг помог, — нехотя ответил «вампир». — Верный человек. Кличку не спрашивай, все равно не скажу. Я думал, здесь пусто, вот и зашел. Я эту палату знаю, здесь редко кто бывает. Смотри — ты сидишь. Ты мне сразу понравился. Я так и подумал, что ты не станешь никого звать. Хотя у тебя был такой вид, как будто ты поверил во все, что я наплел.

— Я не поверил, — признался Кузнецик. — Но это было бы и правда здорово — прятать под кроватью вампира.

— Вот видишь… я же говорю, ты странный, — гость приподнялся на локте, разглядывая Кузнецика. — Люблю странных. Как тебя называют?

— Кузнецик.

— А меня — Волк. Кличка у тебя — что-то не то. Я бы придумал лучше. Давно тебя привезли?

— Летом. Здесь никого не было. Только Лось. Он меня принял. Но после меня уже был другой новичок, — поспешно добавил Кузнецик.

— Спорим, Спортсмен терпеть тебя не может, — предположил Волк.

Кузнецик нахмурился.

— Да, — сказал он коротко. — Не может.

— А все остальные гоняют, чтобы ему угодить.

— Гоняли, — поправил Кузнецик. — А ты откуда про меня знаешь?

— Про тебя я ничего не знаю, я знаю про них. Какие с ними уживаются, а какие — нет. И еще я слышал, о чем ты говорил с Лосем, когда получил письмо от друга. Которого, может быть, без тебя обижают. Кстати, кто он?

Волк раскраснелся от любопытства. Видно было, что ему приятно говорить о жизни за пределами лазарета.

— Слепой, — ответил Кузнечик.

Он знал, что Волк удивится, и Волк удивился.

— Не может быть, — сказал он.

Кузнечик гордо молчал.

— Снимаю шляпу, — сказал ему Волк уважительно. — Никогда не думал, что Слепой годится на роль друга.

Кузнечик обиделся:

— Годится не хуже любого другого!

— И что его могут обижать, — продолжил Волк, будто не услышав.

Кузнечик отвернулся.

Волк похлопал по его плечу:

— Не злись, ладно? Я иногда бываю вредный. Особенно когда спина болит. Расскажи с самого начала, как тебя привели. И дальше. А потом я тебе про всех кучу всего расскажу.

Кузнечик рассказал. Рассказ его прервался сестрой, которая пришла умыть Кузнецика и уложить спать. После ее ухода Волк вылез из-под кровати и забрался к Кузнецiku под одеяло.

— Рассказывай дальше, — попросил он.

Кузнечик рассказывал еще долго. Потом они лежали молча. Кузнечик знал, что Волк не спит.

— Выбраться бы отсюда, — тоскливо сказал Волк в темноте. — Я тут уже полгода. Ты не представляешь...

Кузнецiku показалось, что он заплакал.

— Выберешься обязательно. Не беспокойся. Не бывает такого, чтобы кто-то хотел откуда-нибудь выбраться — и не выбрался.

— Ты очень славный.

Волк обнял его и прижался щекой. Щека была мокрой.

— Если я когда-нибудь отсюда выйду, буду драться за тебя насмерть, вот увидишь. А ты будешь меня помнить, если я не выйду?

— Клянусь! — сказал Кузнечик. — Что всегда буду тебя помнить.

Утром сестра Агата обнаружила Волка, спящего в кровати Кузнецика. Ее крик разбудил обоих. Протаранив сестру в живот, Волк выскоцил в коридор. Кузнечик выбежал следом и, онемев от ужаса, наблюдал, как Волк, лавируя между визжащими сестрами, опрокидывает на бегу тележки с завтраками и лекарствами. Путь его был усеян битым стеклом, ключьями ваты и перевернутыми омлетами. Его поймали в ответвлении коридора, где, к несчастью для Волка, оказалось сразу двое мужчин и под гневные восклицания сестер унесли в палату, куда вскоре с мрачным видом проследовал Паук Ян.

Второй доктор и уборщик, поймавшие Волка, смазывали йодом укусы и, задрав штанины, рассматривали синяки на ногах. Некоторые из сестер, обступив их, обсуждали происшедшее, остальные собирали осколки.

Ошалевший Кузнечик, красный и дикоглазый со сна, молча стоял у двери своей палаты.

— Я считала тебя хорошим мальчиком, — сказала сестра Агата, проходя мимо. — А ты, оказывается, лгун. Для тебя стараются, протезы прилаживают, а ты вот как платишь людям за их заботы.

— Подавитесь вы своими протезами, — с ненавистью ответил Кузнечик. — И своими заботами тоже! — не глядя на застывшую на месте сестру, он вернулся к себе.

В пустой палате он долго смотрел на незастеленную кровать и упавшее на пол одеяло. Потом подцепил ногой стул и швырнул его о стену. Грохот, звон разбитого стакана, упавшего с тумбочки, перевернутый стул — все это его немного успокоило. Из коридора

донеслось встревоженное квохтанье сестры Агаты.

— Вот, — сказал Кузнечик в потолок, — теперь меня посадят на цепь рядом с Волком. И ему не будет одиноко.

На цепь его не посадили — ни рядом с Волком, ни отдельно. Доктор Ян отчитал его в своем кабинете. Лось извинился и пообещал, что заберет его из лазарета. Обиженная сестра Агата сказала, что он хороший мальчик, попавший под дурное влияние. Директор Дома погладил его по голове и сказал:

— Ничего страшного не случилось. Ребенок слегка расстроился.

— Отпустите Волка, — сказал им Кузнечик.

Только Лось услышал его.

Вечером к нему пришла девчонка в голубой пижаме, с волосами, огненными, как цветок мака. Таких ярко-красных волос он никогда раньше не видел и вообще не думал, что они встречаются на самом деле. Разве что у клоунов. Девочка подошла к окну, гордо зажав в руках букет непонятных лохматых цветов. Голова ее осветила белую палату, как маленький пожар.

— Привет, — сказала она.

Кузнечик тоже поздоровался и слез с подоконника.

Девочка положила букет на тумбочку.

— Я — Рыжая.

Уши у нее торчали, кожа вокруг носа была красноватая, а глаза неожиданно черные, в красных ресницах. Чтобы разглядеть это, Кузнечику понадобилось немало времени. От ее волос было трудно отвлечься. Он удивился, что ему сообщают очевидное.

— Я вижу, — сказал он. — Трудно не увидеть.

Девчонка замотала головой.

— Нет. Я знакомлюсь, — объяснила она терпеливо. — Рыжая. Теперь понял?

Он понял.

— Кузнечик, — представился он.

Девочка кивнула, разглядывая пустую палату.

— Скучно у тебя тут, — сказала она. — И чисто.

Кузнечик промолчал.

— Пойдем со мной? Я приглашаю.

— А разве можно? — Кузнечик сомневался, что его пустят дальше порога после всего, что произошло.

— Нельзя. Но никто ничего не скажет, вот увидишь. Пойдем.

Они вышли в белоснежный, заглушавший шаги коридор Могильника.

Матовые двери открывались и закрывались. Старшеклассники в пижамах сидели в креслах и листали журналы. Сестры сновали из одной двери в другую, как снежные шары. Кузнечик шел за Рыжей, ожидая окриков, но никто не окликнул их и ни о чем не спрашивал. Они шли, отражаясь в стеклянных шкафах, как в зеркалах, в одном за другим. Голубая пижама и белая пижама. И везде зажигался огонь ее волос.

Мы как будто исчезли, думал Кузнечик удивленно. Мы идем, но нас нет. Никто нас не видит и не слышит. Как будто рыжая девчонка заколдовала весь Могильник...

За окнами падал снег. Они свернули в другой коридор, с блестящим линолеумом, и прошли по нему до последней двери.

— Это здесь, — Рыжая толкнула дверь.

Палата была совсем маленькая. Три кровати, заваленные грудами вещей. С полноценными свалками журналов, тетрадей, бумаги, кисточек и банок с краской. На стенах висели рисунки, в плетеной клетке прыгал зеленый попугайчик. Комната напоминала Хламовник и даже пахла, как Хламовник. Кузнечик наступил на апельсиновую кожуру и остановился, смущенный. С разбегу прыгнув на одну из кроватей, Рыжая сбросила тапочки, смела на пол мусор и представила своего соседа:

— Смерть.

Красивый мальчик с битловской прической улыбнулся и кивнул.

— Привет, — сказал он.

Кузнечик вздрогнул, услышав кличку.

— Так ты тот самый...

Смерть опять кивнул, улыбаясь.

— Да садись же, — позвала Кузнечика Рыжая, спихивая с кровати очередную груду вещей. — Успеешь насмотреться.

Кузнечик сел рядом с ней. О соседе Рыжей он кое-что знал. Смерть был мальчиком, который никогда не покидал Могильника и о котором воспитатели между собой говорили, что он не жилец. Смерть был лежачий. Он не ходил и не ездил в коляске. Он жил в Могильнике с незапамятных времен, и как Могильного жителя Кузнечик представлял его зеленоватым, похожим на покойника. Другим нельзя было представить человека, который «не жилец» уже много лет подряд. Но Смерть оказался маленьkim и нежным, с глазами в пол-лица и длинными, как будто покрытыми лаком, темно-красными волосами. Пока Кузнечик его разглядывал, Рыжая собирала с одеяла карты.

— Поиграем? — спросила она. Они с Кузнечиком подсели к Смерти.

На час они стали гадалками. Предсказали друг другу осуществление всех желаний и счастливое будущее, потом карты полетели на пол, а Рыжая, задрав пижаму, показала Кузнечику татуировку у себя на животе. «Татуировка» была нарисована шариковой ручкой и успела размазаться, но можно было разобрать: что-то похожее на орла с человеческой головой.

— Кто это? — спросил Кузнечик.

— Не знаю, — сказала Рыжая. — Смерть считает, что гарпия. А вообще-то имелся в виду грифон. Как тебе?

— Могло быть хуже, — уклончиво ответил Кузнечик.

Рыжая вздохнула, подчищая размазанные чернила пальцем.

— Бывало и хуже, — призналась она. — В прошлые разы. Художник из меня, по правде говоря, никакой.

Они посидели молча. Смерть крутил на одеяле апельсин. Кузнечик подыскивал тему для разговора.

— А правда, что в Могильнике водятся привидения? — спросил он наконец.

Рыжая закатила глаза.

— Если ты про Белого, то никакое он не привидение. Обычный придурок. А вообще-то, конечно, водятся. Только они не шляются по палатам и не бубнят всякую муть, как, небось, у вас в Хламовнике рассказывают.

— А что же они делают? — улыбнулся Кузнечик.

Рыжая требовательно уставилась на Смерть:

— Что они делают, Смерть?

Тот пожал плечами.

— Ничего, — сказал он смущенно. — Просто иногда проходят по коридорам. Повезет, если вообще их увидишь. Они тихие и красивые. А Белый — совсем наоборот. Вбежал в темноте, споткнулся, нашумел, а потом еще завыл, как собака. Я чуть не умер со страха.

— Белый — из старших, — объяснила Рыжая. — Вставлял в ноздри зажженные сигареты, заворачивался в простыню и шастал по палатам — пугал малышей и девчонок. Потом его поймали и куда-то отправили. Он был совсем чокнутый.

Кузнечик представил себе жуткого, чокнутого старшеклассника в простыне и посмотрел на Смерть с уважением.

— Я бы в живых не остался, если б такое увидел, — признался он. — Или штаны бы намочил.

— А я и намочил, — улыбнулся Смерть. — Не все же рассказывать.

Чем дальше, тем Смерть Кузнечику больше нравился.

— А те, другие? — спросил он. — Которые настоящие. Ты их видел?

— Они не страшные, — ответил Смерть. — Я их видел, но не боялся. Они никому не вредят. Сами когда-то натерпелись.

Кузнечик понял, что Смерть не врет, и ощутил неприятный холодок в желудке. Смерть или сам сумасшедший, или действительно видел привидений.

— Он не врет, — подтвердила Рыжая. — Он Ходок, между прочим.

— Кто-кто? — переспросил растерявшийся Кузнечик.

— Хо-док, — по слогам повторила Рыжая. Во взгляде ее отразилось разочарование. — Ты что, не знаешь кто они такие?

Кузнечику очень захотелось сорвать, что знает. А потом он вдруг вспомнил, что действительно слышал это слово. Однажды воспитатель Щепка поймал его в коридоре. Они шли втроем — Щепка, Лось и Черный Ральф — и на ходу горячо о чем-то спорили. Кузнечик поздоровался и хотел пройти мимо, но Щепка схватил его за воротник.

— Постой, ребенок! — закричал он. — Ну-ка, скажи мне быстро, существуют ли Прягуны и Ходоки?

— А кто это? — вежливо спросил Кузнечик.

Лицо воспитателя приблизилось к его лицу. Глаза за толстыми стеклами очков метались, как будто он был чем-то напуган.

— Правда, не знаешь? — спросил он.

Кузнечик помотал головой.

Щепка тут же отпустил:

— Вот! — вскричал он. — Слышиште? Дитя не имеет о них ни малейшего понятия!

— Это не довод, — кисло сказал Р Первый, и они, все трое, пошли дальше, продолжая спорить.

Кузнечик тут же забыл об этом происшествии. Воспитатели в чем-то были не менее странными, чем старшие. Иногда до такой степени, что трудно было понять, о чем они говорят.

— Ходоки — это то же самое, что Прягуны? — осторожно спросил он Рыжую, боясь попасть впросак.

Она возмутилась:

— Нет, конечно! Так ты все-таки знаешь?

— Только названия, — признался Кузнечик.

Рыжая посмотрела на Смерть. Тот кивнул.

— Прягуны и Ходоки, — сказала она учительским тоном. — Это те, кто бывал на изнанке Дома. Только Прягунов туда как бы забрасывает, а Ходоки добираются сами. Ходоки и обратно возвращаются, когда захотят, а Прягуны не могут. Должны ждать, пока их вышвырнет. Ясно тебе?

— Ясно.

Кузнечику ничего не было ясно, но он решил ни за что в этом не признаваться.

— А ты? — спросил он Рыжую. — Ты Ходок или Прягун?

Рыжая помрачнела.

— Ни то ни другое. Но когда-нибудь стану обязательно, — она начала перелистывать лежавший на подушке журнал, словно ей вдруг надоело говорить на эту тему.

Смерть улыбался.

— Как тебе Волк? — спросил он. — Правда, чумовой?

— Вы знаете про Волка? — изумился Кузнечик.

Рыжая отложила журнал:

— Мы все про всех знаем. Даже про тех, кого здесь нет. А уж про тех, кто здесь, знаем больше всех. Ты молодец, что его спрятал. Те цветы я стащила у одной старшей, потому что они ей даром не нужны, у нее их чуть не сто букетов. А тебе будет веселее, и в палате не так пусто. Только мы забыли их в воду поставить. Теперь они завянут, пока ты вернешься.

— Я думал, вы меня просто так позвали.

— Просто так никого никуда не зовут, — широко улыбнулась Рыжая. И, помолчав, добавила:

— Вообще-то не только поэтому. Потому что ты тоже немножко рыжий, как мы со Смертью. А рыжие должны держаться одним косяком, ясно тебе? Мы ведь не такие, как все, вечно на нас все шишки валят и не любят нас. Ну в основном не любят, бывают, конечно, исключения. Это оттого, что мы от неандертальцев произошли, то есть мы их потомки, а те, которые не рыжие, те от кроманьонцев. Это в одном научном журнале было написано, могу одолжить, если хочешь, я его сперла из библиотеки.

Насчет «косяка» Кузнечик немного усомнился. Что это правильное слово. Но согласен был происходить от кого угодно, если для Рыжей это так важно. Ее мысли и слова скакали слишком быстро, темы менялись чаще, чем Кузнечик успевал на них среагировать, но он отметил, что Рыжая что-то уж очень часто ворует и совершенно этого не стыдится. Потом он ненадолго отвлекся, перестав ее слушать, и тут же оказалось, что зря, потому что речь зашла о Волке.

— Это я его выпустила. И еще выпущу, если понадобится, потому что терпеть не могу, когда людей запирают, особенно детей, это просто садизм, иначе не скажешь...

— Так это ты — верный человек? — обрадовался Кузнечик.

— Ясное дело, я. Кстати, если тебя тоже запрут, можешь на меня рассчитывать. Я многим помогаю по-всякому. Записки передаю, даже неразрешенных посетителей иногда по ночам провожу. Ну и всякие другие мелочи.

— Как это сестры тебя еще не убили? — удивился Кузнечик.

Рыжая махнула рукой:

— Они меня не трогают. Боятся.

Смерть хихикнул, глядя на девочку с привычным восхищением.

— Если ее наказывают, я сразу заболеваю. А мне болеть нельзя, я от этого и умереть могу. Меня нельзя расстраивать. Вообще.

— Ничего не могут мне сделать, — подтвердила Рыжая. — Смерть — ихний любимчик, они с ним носятся прямо как не знаю с чем. А я — его лучший друг. Поэтому меня не трогают.

Только теперь Кузнечик понял, почему в палате такой бедлам, почему Рыжая спокойно приглашает сюда гостей и почему никто не заходит проверить, чем они занимаются. Замечания и запреты сестер не имели здесь власти. Оказывается, быть «не жильцом» очень даже выгодно, подумал Кузнечик.

Он просидел в гостях весь вечер. На ужин они ели апельсины. Переиграли во все игры, которые хранились в коробках под кроватью у Смерти, а перед тем как разойтись по палатам, затеяли бой на подушках и перевернули клетку с попугаем. Перья покалеченной подушки, покружиившись в воздухе, опустились на пол, уже усеянный фишками, карточками и нарисованными деньгами.

Кузнецiku было хорошо. Ему понравились и Рыжая, и Смерть, хотя Рыжая чересчур любила командовать, а Смерть слишком уж во всем ее слушался. Вернувшись в свою пустую и темную палату, Кузнечик сразу лег спать. Этот вечер стал вторым счастливым вечером в Могильнике. Одно было плохо. Где-то взаперти сидел одинокий Волк.

Утром сестра была подчеркнуто холодна.

— Весь вечер бесился, как дикарь. В чужой палате, — выговаривала она, заталкивая Кузнецiku в рот ложку с кашей. — Ни режима, ни ужина. Видела я, что вы там сотворили. Настоящий свинарник. Фу!

Кузнечик жевал и думал, что Рыжую никто не кормит с рук и что Смерть, конечно, тоже ест сам, но, может быть, с ними делают что-то другое, еще более противное. Сестра ворчала и хмурилась, а потом вдруг застыла с ложкой в руке:

— Кто же тебя водил в туалет? Или ты не ходил? Так и терпел весь вечер?

— Я ходил, — удивился Кузнечик. — Мне Рыжая помогла.

Ложка упала на одеяло, а сестра Агата воздела руки к потолку и издала очень странный звук. Кузнечик с интересом наблюдал за ней.

— Тебе! Большому мальчику! Девочка помогала в таком деле! Какой позор! И ты так спокойно об этом говоришь?

Лось вошел очень вовремя, чтобы услышать про ужас и позор.

— Что случилось? — спросил он.

Сестра сделалась еще злее:

— Ни капли стыда у этих детей нет. Хуже животных!

Кузнечик хмуро смотрел на размазавшуюся по одеялу кашу.

— Чего вы кричите? Как будто вы мне не помогаете.

Сестра булькнула горлом.

— Я — женщина! — сказала она. — И медицинская сестра!

— Еще хуже, — заметил Кузнечик.

Сестра Агата встала.

— Ну хватит. Я иду к доктору. Пора уже кончать с этими безобразиями. Вы — воспитатель! Вам должно быть стыдно за своих воспитанников!

Дверь за ней захлопнулась, но Кузнечик успел услышать начало монолога о том, что полагается делать с такими воспитателями, как Лось. Окончания он не услышал. Лось салфеткой счистил с одеяла кашу и грустно посмотрел на Кузнечика.

— Малыш, по-моему, сестра Агата в тебе разочаровалась. Ты слишком откровенен.

Кузнечик вздохнул.

— Мы погасили свет, чтобы я не стеснялся. И она и не смотрела вовсе. Что тут такого плохого?

Лось потер лоб.

— Вот что, — сказал он, — давай договоримся, про свет ты упоминать не будешь. Хорошо?

— Хорошо, — послушно согласился Кузнечик. — Не буду.

Он задумался.

— Я испорченный, да?

— Нет, — сердито сказал Лось. — Ты нормальный. Будешь доедать?

Кузнечик скривился.

— Понятно, — вздохнул Лось. — Я не настаиваю.

— Волку тоже такую дают? — начал Кузнечик издалека.

— Всем дают одно и то же. Если они не на специальной диете.

— Можно мне к нему сходить?

— Это вопрос не ко мне, а к главному врачу.

— Ему сейчас рассказывают, какой я испорченный, — сказал Кузнечик. — Что у меня нет стыда. Всем об этом рассказывают, и все возмущаются.

Лось менял местами приборы на подносе.

— Скажи, Лось, — Кузнечик попытался поймать его взгляд. — Волк — он тоже «не жиleeц»?

Лицо Лося пошло пятнами, глаза сердито вспыхнули:

— Кто тебе сказал такую ерунду?

— Тогда почему его не выпускают?

— Он проходит курс лечения.

— Ему здесь плохо, — сказал Кузнечик. — Он не может тут больше быть.

Лось смотрел в окно. Он был ужасно усталый. Вокруг рта глубокие складки. Кузнечик впервые задумался о том, сколько Лосю лет. Что он, наверное, намного старше его — Кузнечика — мамы и что седых волос у него больше, чем неседых, а когда он чем-то расстроен, то лицо кажется еще старше. Раньше такие мысли Кузнечику в голову не приходили.

— Я говорил с главным врачом. Волка скоро выпишут. Они не для своего удовольствия

его здесь держат. Ты уже взрослый, должен понимать такие вещи.

— Я понимаю, — сказал Кузнечик. — Так мне к нему можно?

Лось посмотрел на него как-то странно.

— Можно, — сказал он. — Но с одним условием...

Кузнечик радостно взвизгнул, но Лось поднял руку.

— Подожди. Я сказал: с одним условием. Тебя переведут к нему, и вы останетесь вместе до выписки, если ты сможешь заставить его делать все, что велит доктор. Никакой беготни, никаких подушечных боев и никаких игр, кроме тех, которые разрешат. Сможешь?

Кузнечик нахмурился.

— Не знаю, — сказал он уклончиво.

— Тогда не о чем говорить.

Кузнечик думал. Сможет ли он заставить Волка делать то, чего Волк не захочет? Или, наоборот, не делать чего-то? Это было трудно представить. Волк никого не слушал, не станет слушать и его. Но ночью он плакал, как маленький, из-за того, что хотел выйти из лазарета. Волк бы и сам делал все, что надо, если бы верил, что его отпустят. Просто он больше не верил.

— Я согласен, — сказал он, завозившись под одеялом. — Только если ты дашь мне слово, Лось. Поклянешься, что его отпустят.

— Клянусь! — сказал Лось.

— Тогда пошли! — Кузнечик вскочил на постели и запрыгал от нетерпения. — Пошли скорее, пока он не умер от тоски!

— Погоди, — Лось дернул его за ногу, и Кузнечик шлепнулся на подушку. — Подождем доктора и сестру.

— Скажи Лось, а Смерть когда-нибудь выпишут? А Рыжая — такая девочка — она «жилец»? А старшеклассника Белого ты знал?

Его провожали втроем. Доктор Ян нес его вещи. Сестра — сверток с бельем. Лось — книги. Доктор и Лось переговаривались на ходу, сестра Агата шла молча, поджав губы, всем своим видом давая понять, что ничего хорошего не ждет от Кузнечика, куда бы его ни переводили. Кузнечик заставлял себя идти медленно.

— Ну вот, — сказал доктор, останавливаясь, и нагнулся к нему. Он был высокий, еще выше, чем Лось. — Не передумал?

Кузнечик замотал головой.

— Тогда пошли.

Первое, что он увидел, когда вошел, — решетки. Белые, они вдавались вовнутрь комнаты — окна были как будто в клетчатых коробках. Решетки, через которые не достать стекло рукой. По стенам прыгали разноцветные Винни-Пухи и Микки-Маусы. Волк лежал на полу, лицом в стену, натянув пижаму на голову. Он не обернулся на стук двери и голоса, а Кузнечик не решился его окликнуть. Сестра, раскладывая белье, качала головой и что-то ворчала себе под нос. Доктор и Лось отошли к окну. Вещи Кузнечика положили на тумбочку, книги — на пол. Сестра возилась гораздо дольше, чем было нужно. Волк не шевелился, доктор и Лось тихо переговаривались о посторонних вещах. Уходя, доктор Ян ласково дернул Кузнечика за ухо и сказал:

— Не робей.

Как будто его оставляли в клетке с настоящим волком. Наконец они ушли. Щелкнул замок, и стало тихо.

Кузнечик посмотрел на Волка. Ему стало не по себе. *Я его совсем не знаю. На самом деле совсем не знаю. Может, он мне вовсе и не обрадуется. Может, лучше было остаться в своей палате и каждый вечерходить с Рыжей в гости к Смерти?*

Он посмотрел на скачущих Микки-Маусов, которым какой-то шутник пририсовал торчащие зубы. Подошел к Волку, сел рядом с ним на корточки и тихо позвал:

— Эй, вампир...

Посещая Могильник

[Сфинкс]

Я смотрю в глаза своему отражению. Пристально, не моргая, пока глаза не начинают слезиться. Иногда удается добиться ощущения полной отстраненности, иногда нет, это неплохое лекарство для нервов или пустая трата времени – все зависит от того, каким ты приблизился к зеркалу и что унесешь, отойдя от него.

Зеркала – насмешники. Любители злых розыгрышней, трудно постижимых нами, чье время течет быстрее. Намного быстрее, чем требуется для того, чтобы по достоинству оценить их юмор. Но я помню. Я, несчетное число раз смотревший в глаза забитого мальчугана, шепча: «Хочу быть как Череп»... встречаю теперь взгляд человека, намного больше похожего на череп, чем носивший когда-то эту кличку. И, словно этого мало, я – единственный владелец безделушки, благодаря которой его так прозвали. Я могу оценить зазеркальный юмор, потому что помню то, что я помню, но многие ли тратили такую уйму времени на общение с зеркалами?

Я знаю красивейшего человека, который шарахается от зеркал, как от чумы.

Я знаю девушку, которая носит на шее целую коллекцию маленьких зеркал. Она чаще глядит в них, чем вокруг, и видит все фрагментами, в перевернутом виде.

Я знаю незрячего, иногда настороженно замирающего перед собственным отражением.

И помню хомяка, бросавшегося на свое отражение с яростью берсеркера.

Так что пусть мне не говорят, что в зеркалах не прячется магия. Она там есть, даже когда ты устал и ни на что не способен.

Перестав отчуждаться, я встречаюсь взглядом со своим отражением.

– Бог ты мой, – говорю я. – Ну и чудище... Ты бы хоть оделся, братец.

Чудище – голое, ободранное, с сумасшедшими от бессонницы глазами, смотрит укоризненно. На правой брови у него пластырь, левое ухо оттопыривается, багрово полыхая, разбитая губа покрыта коркой подсохшей крови.

Пристыженный его молчаливым укором, я отворачиваюсь.

– Ладно, извини. Ты красавец. Просто немного не в форме.

Поднырнув под висящее на крюке банное полотенце, я стягишаю его себе на спину и зубами расправляю на плечах. Задрапированный в мохнатую белую тогу, выхожу из ванной.

«Некоторые живут, как будто в порядке эксперимента», – сказал незрячий по поводу последних событий. Вот только непонятно, почему желание поэкспериментировать возникает у многих одновременно? Почти без пауз. Лорд, потом Черный и, наконец, я сам. Прослеживается определенная закономерность. Может, это похоже на эпидемию гриппа? Вирус агрессии и недовольства летает от человека к человеку, стремительно размножаясь. Черная полоса в жизни стаи, из которой довольно трудно вынырнуть.

Я замираю, закрыв глаза, и пробую поймать ее – дрянь, просочившуюся неведомо откуда. Почувствовать, чем она пахнет, поймать и вернуть обратно, туда, откуда она пришла. Но ничего не чувствую, кроме усталости и двух бессонных ночей, давящих на веки. Хотя, пожалуй, еще запах чьих-то погребенных в куче ботинок и кед носков. Кладбище обуви под вешалкой давно пора разобрать, пока там не завелись мыши-токсикоманы.

Отворяю дверь. В спальне пусто и тихо.

От этого она кажется меньше, хотя должно бы быть наоборот. Но у нас все не как у людей. Если Горбач, где бы ни находился, окружен деревьями, а Македонского сопровождает невидимый хор, выводящий «Лакримозу»; если Лорд всегда в своем замке с замшелыми стенами и лишь изредка опускает подъемный мост, а Шакал в любой миг способен размножиться до полудюжины особей, и слава богу еще, что Лэри не затачивает

сюда коридоры, а Толстый колдует только в глубине своей коробки... если учитывать все это, нет ничего удивительного, что, опустев, наша загроможденная мирами спальня кажется меньше, чем когда все мы тут.

Я сажусь на кровать. Я голоден, но спать мне хочется гораздо сильнее. Прислоняюсь лбом к прутьям спинки и ненадолго задремываю. До тихого дверного стука и шороха шин в прихожей.

Это Курильщик.

Светящийся и обновленный после Клетки. Славный человек, не загромождающий помещение ничем, кроме себя и своих кошмарных вопросов.

Гляжу на него по-птичью, одним глазом. Второму мешает свешивающийся с брови пластырь.

– Привет! – восклицает он и тут же мрачнеет. – Что случилось?

Мне становится совестно. Возвращающихся из Клеток встречают ликуя. Так принято еще с тех пор, когда никто не отправлялся в них по собственному желанию. А я слишком устал и слишком похож на огородное пугало, чтобы проделать все необходимые телодвижения.

– Не поладил с Черным. А ты как? Все в порядке?

Пухлощекий, румяный Курильщик, с блестящей челкой до самых бровей. Прошедшее испытание Клеткой. Конечно, с ним все в порядке – это сразу видно, но на всякий я случай уточняю. Клетки – плохое место. Не самое плохое в Доме, но одно из плохих. И я рад, что Курильщик этого не понял. Хотя вообще-то радоваться по такому поводу не принято.

– Замечательно, – его тон подтверждает мою догадку. – Как будто заново родился, честное слово! Спасибо Шакалу.

– Рад, что ты так к этому относишься.

Он подъезжает вплотную к кровати и настороженно глядит на меня:

– Из-за чего вы подрались?

Подразумевается: как вы с Черным умудрились подрасться? Мои возможности на этом поприще для него – тайна за семью печатями, но ему все же легче вообразить в драке меня, чем солидного флегматика, каким, наверное, Курильщику кажется Черный. Еще он ужасно боится услышать что-нибудь вроде: «Видишь ли, у нас возникли определенные разногласия, малыш», – и ничего более. Боится, потому что довольно часто слышит именно такого рода объяснения, и они его удручают. Мешают ощущать себя взрослым. Вообще-то у него есть основания опасаться. Искушение отделяться парой бессмысленных фраз велико. Объяснения повлекут за собой только новые вопросы, ответить на которые я уже не смогу. Но Курильщика трудно отшивать. Он протягивает себя на раскрытой ладони – всего целиком – и вручает тебе, а голую душу не отбросишь прочь, сделав вид, что не понял, что тебе дали и зачем. Его сила в этой страшной открытости. Таких я еще не встречал. И я вздыхаю, прощаюсь с надеждой отдохнуть до возвращения стаи.

– Видишь ли... Лорд решил попробовать одну штуку, «Лунную дорогу». А влияние этой жидкости на человеческий организм отличается удивительной непредсказуемостью. Одним становится плохо. Другие начинают вести себя странно. Есть и такие, что чувствуют себя совершенно счастливыми. Со стороны это выглядит неприятно. Один мой знакомый после «Дороги» начал объясняться стихами. Другой вообще разучился говорить...

Курильщик слушает с таким напряженным вниманием, что я с трудом удерживаюсь от искушения пересказать последствия всех известных мне случаев употребления «Дороги».

– В общем, ты понял. Пить ее – стать подопытным кроликом.

Он кивает:

– Я понял, Сфинкс. Это наркотик. Так что случилось с Лордом?

Мельком гляжу на смятый плед в углу кровати, где сидел застывший дракон. Больше похожий на чучело.

– Он оцепенел. Превратился в камешек. Не реагировал ни на что. Кстати, не худшая из реакций. Главное в таких случаях – не трогать и не мешать. Но кто-то должен быть рядом.

На всякий случай.

Курильщик вздыхает с облегчением. Он не любовался пять часов кряду живой скульптурой с широко распахнутыми глазами, не слышал причитаний Лэри и пророчеств Шакала. Для него в моем рассказе нет ничего пугающего.

Я пытаюсь прилепить на место чертов пластырь, потирая его о прутья спинки, но безуспешно. Завтрак скоро закончится. Пора закругляться с этой историей.

– Черный вызвался остаться с Лордом на время обеда. Когда мы вернулись, Лорда уже не было. Этот кретин отправил его в Могильник. Уж не знаю, вызвал Пауков или сам дотащил. Да это и неважно. Вот, собственно, все.

Как я и предполагал, для Курильщика это явно не все. Он смотрит с таким изумлением, что я догадываюсь: что-то нехорошее от меня к нему просочилось. Мне кажется, я говорил почти без эмоций и уж, конечно, далек от того, что творилось со мной вчера, но некоторые чувства трудно держать при себе, они так или иначе прорываются наружу. Моя нелюбовь к Черному как раз из таких. Как, впрочем, и его нелюбовь ко мне. Курильщику этого знать необязательно, хотя в своем случае я, кажется, опоздал. Он уже что-то поччял.

– Я думаю, – взгляд Курильщика убегает, прячась под ресницами, – может, он хотел как лучше? Может, он испугался за Лорда и решил, что так будет надежнее. В лазарете ведь знают, как приводить людей в чувство после... после всяких таких вещей.

– Конечно. Там много чего знают. А Черный хотел как лучше. На его взгляд, лучше нам обойтись без Лорда. Слишком он неспокойный.

– Ты как-то странно говоришь, Сфинкс... Как будто Лорда там съедят.

Самое невыносимое в новичках то, что им постоянно приходится объяснять очевидные вещи. При этом чувствуешь себя дураком. Особенно если ты голый и замотан в сырое полотенце. Можно, конечно, ничего не объяснять. Но я не сторонник подобного поведения, ведь рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемами, выросшими из недоговоренностей. Из того, что кто-то из нас не так понят.

– В историях болезней, хранящихся в Могильнике, – мужественно начинаю я, – имеются специальные наклейки. Желтые, синие и красные. Их же вклеивают в личные дела. Не буду сейчас рассказывать о желтых и синих, но одна красная полоска означает, что ты асоциален и неуравновешен. Две – что склонен к суициду и нуждаешься в усиленном контроле психотерапевта. Три – что страдаешь неизлечимым психическим расстройством и нуждаешься в стационарном лечении, которого Дом тебе предоставить не в состоянии.

Курильщик хмурится, пытаясь припомнить, видел ли он в своих бумагах какие-нибудь полоски. Мне смешно, хотя, видит бог, в этом нет ничего смешного.

– Одна, – говорю я ему. – Раз тебя выставили из группы – почти наверняка. Но одна есть практически у каждого, так что не переживай. У нас без нее обошелся только Толстый.

– А у Лорда их?..

– Три. И боюсь, на этот раз, если не случится чуда, кто-нибудь обратит на это внимание.

– Так он шизофреник, да?

Я набираю в грудь побольше воздуха, но тут до меня доносится нарастающий гул и грохот катящейся по коридору лавины, и все нехорошие слова остаются при мне. Курильщик тоже слышит приближение отобедавших.

– Ох, я съезжу кое-куда, – испуганно говорит он. – Пока там свободно.

Он как раз успевает скрыться, когда лавина достигает спальни. Скрип, лязг, голоса, хлопанье двери. Первым влетает Шакал на Мустанг. Сметанные усы под носом и пакет с бутербродами в охапке.

– Алло, Сфинкс! Ты затеял одиночный стриптиз? Мог бы дождаться товарищей!

Горбач его отпихивает, ставит на тумбочку бутылку с соком и лезет доставать Нанетту на предмет кормления.

– Дивные бутерброды, – соблазняет меня Табаки. – Могу даже полить их соусом.

Ко мне протискивается Македонский с ворохом одежды в руках.

– Один с сыром, один с творогом. Сам над ними трудился, – не унимается Шакал.

– Курильщик вернулся. Может, он голодный. Спроси его.

С радостным воплем Табаки выкатывается задом в дверной проем и, судя по грохоту, бросается штурмовать дверь туалета.

– Курильщик! Солнце мое! Ты здесь? Отзовись!

Македонский застегивает на мне рубашку.

– Пойдешь к Лорду? – спрашивает он.

Ну, конечно. Сейчас мне только к Лорду. С объяснениями, как и почему он очутился в Могильнике.

– Оставь меня в покое, – огрызаюсь. – Я не в том состоянии, чтобы туда таскаться.

Он молча держит передо мной джинсы. Не возражает и не спорит, отчего на душе только муторное.

Шакал – солнечный живчик в сметанных усах, восторженный визгун – возвращается. С Курильщиком, жующим бутерброд из пакета, и с Горбачом, который возбужденно лупит Курильщика по плечам, мешая ему насыщаться расспросами о том, как он провел время в изоляторе.

– Ну как там Клетка, стоит, проклятая?

Курильщик кивает:

– Да. Стоит. Ничуть не изменилась. А что ей сделается?

Сглатывая слону, наблюдаю стремительное исчезновение бутербродов.

– Похудел ты, – горестно отмечает Лэри. – Тяжело было?

Курильщик опять кивает, жуя. Бурчит сквозь бутерброд:

– Ненавижу эти желтые цветочки!

Чем немедленно вызывает у Горбача с Шакалом взрыв воспоминаний о часах, проведенных ими в изоляторе:

– А я вот, помню, в прошлый раз...

– Чего там сутки, я как-то просидел четыре...

– Желтый – ерунда, а вот Синий...

Пока они делятся впечатлениями, я обнаруживаю у себя на плече руку Слепого.

– По-моему, – задумчиво изрекает Великий-и-Ужасный, – тебе имеет смысл прогуляться в Могильник. Поговори с Янусом, вы ведь друзья.

И этот туда же. Маршрут остался неизменным, задание усложнилось, а Слепого, в отличие от Македонского, не пошлешь к черту. То есть можно, конечно, но нежелательно.

– Это приказ? – сварливо уточняю я.

Слепец удивлен.

– Нет, конечно. Просто предложение.

Он отпускает мое плечо и удаляется, даже не дав мне возможности поворчать. Пора бежать в Могильник. Прямо сейчас, пока Табаки не вздумалось присоединиться к советчикам, пока Горбач не высказал все, что он думает по этому поводу, пока Лэри не предложил меня проводить. Слишком долго живем бок о бок. Бока почти срослись, и повадки у всех стали одинаковыми. Скоро не будет нужды открывать рот, чтобы сообщить свое мнение по любому вопросу, и так все всё будут знать.

Уроки проходят бесшумно, ничем меня не задевая. Дождь стучит в окна. Капли сползают по стеклам серыми лентами. Хочется спать. Ловлю себя на том, что засыпаю с открытыми глазами и даже вижу сон.

Тусклый переход по подземным коридорам. В конце – окно. Подслеповатое окошко, засиженное мухами, с замазанными мелом стеклами. На подоконнике – Волк. Спиной ко мне. В своем старом узорчатом свитере с дырками на локтях.

– Волк! – окликаю я.

Он оборачивается и смотрит на меня. Белый шрам на губе. Губы не шевелятся, но слышен голос.

— У меня в норе под подушкой, — говорит он шепотом, — повесилась мышь.

Просыпаюсь от взвизга Мымы и вижу перед собой ее круглые глазки-пуговки. Совсем очумелые.

— Где мышь? — с дрожью в голосе она нацеливает мне на нос указку. — Где она?

Дальше меня выставляют за дверь, и я волен делать что захочу. Вернее, не волен. Надо идти в Могильник. Захожу в спальню в поисках остатков трапезы Курильщика, не нахожу ничего, кроме крошек, и, опечаленный, удаляюсь. Коридор проплывает мимо, не сообщая ничего нового. Возможно, он и сообщает, но я передвигаюсь, словно в вакууме, глухой и слепой к его сообщениям, и даже приятно удивленный тем, что, оказывается, это возможно. До самого Могильника, на пороге которого все же встряхиваюсь. За этой дверью не та территория, по которой стоит брести из последних сил. В Могильнике следует демонстрировать бодрость и жизнерадостность. Даже если ты труп.

Коридор безупречно стерилен. Все сверкает белизной. И пропитано жутким лекарственным духом. Навстречу по надраенному паркету катятся два круглых и грозных Паука женского пола.

— Что такое? Кто разрешил? Вон отсюда!

Мой неузнаваемо жалкий голос:

— Я только на минутку. Передать поручение учителя. Это очень срочно.

— К заведующему! — пухлый, указующий перст в конец коридора.

Подметаю пол хвостом, льстиво скалюсь и бегу дальше.

Паучихи неприязненно таращатся. Их человек вроде меня устраивает только в одном состоянии: спеленутый, подвешенный и опутанный трубками-проводочками. Чтобы удобнее было сосать кровь. А безрукий, бегающий на свободе — безобразие и преступление. Мысленно показываю им фигу. Грабли на это, увы, не способны. Дальше бегу галопом.

Кабинет Януса. Ян — самый симпатичный и порядочный Паук на свете, и я его нежно люблю, но в последнее время наши отношения немного испортились, поэтому мне тревожно. Стучусь граблей и приоткрываю застекленную дверь.

— Можно войти?

— А, это ты, — Паук поворачивается на стуле-вертушке. Лошадинолицый, серо-рыжий и лопоухий, с удивительной улыбкой, которую он редко демонстрирует. Из-за нее его и прозвали Янусом. Когда он улыбается, то делается совсем другим.

— Входи. Не стой в дверях.

Я вхожу. Кабинет не такой белый, как остальной Могильник. Если постараться, можно даже представить, что находишься в каком-то другом месте. На стенах — рисунки Леопарда в тонких деревянных рамках. Кабинет Януса — единственное место в Доме, где можно в цивилизованном оформлении увидеть то, что рисовал Леопард. Сохранившееся на стенах ближе, понятнее и веселее, но стена есть стена, на ней трудно сохранить что-либо таким, каким оно когда-то рисовалось. А если вдруг затеют ремонт с перекрашиванием всего и вся, рисунки исчезнут навсегда. Останутся только эти. И те, что спрятаны у меня. Здесь — сплошные паутины и деревья, на самом большом листе — белый, длинноногий паук с легко узнаваемым янусовским лицом. Понуро висящий в центре надорванной паутины. Не всякий повесил бы у себя такой портрет. Ян повесил. И этот, и остальные, хотя от них так и пахнет ненавистью Леопарда к Могильнику. Подхожу к белому столу, покрытому стеклом.

— Можно мне повидаться с Лордом?

Янус молчит. Видно, что пускать не настроен. Но он никогда не скажет просто — убирайся. Это не в его духе.

— С кем ты поцапался? Подойди, я на тебя посмотрю, — Ян выдвигает ящик стола и начинает в нем копаться. — Подойди, я сказал. Тебе это нравится?

— Что именно?

— Драться. Бить кому-то морду ногами.

Он подцепляет что-то и выволакивает на стол. Бело-бирюзовые пакетики липучки.

— Этот грязный пластырь, который свешивается тебе в глаз, надо сменить.

Ян встает, сажает меня на стул-вертушку и отколупывает со лба клок пластиря. Я вижу, что он действительно грязноват. Это не смертельно, но Янусу надо угодить, и я сижу тихо, пока он делает все, что считает нужным.

— Видишь ли, — бормочет он, мучая мои раны. — Ему надо побить одному. Иногда человеку это необходимо. Ты ведь понимаешь?

Я понимаю. Это действительно так. Но пусть объясняет это Македонскому, Слепому и всем остальным.

— Я понимаю, — говорю я.

— Вот и хорошо. Возвращайся в группу и скажи ребятам, чтобы никто больше не приходил. Может, позже, не сейчас. Это распоряжение директора.

Я вздрагиваю:

— Почему? Кажется, он обычно не вмешивается в ваши дела?

Взгляд Януса прочно приковывается к заоконному пейзажу.

— Иногда вмешивается. В исключительных случаях.

Мне становится плохо. Это приговор. Смотрю на Януса, и он вдруг отъезжает от меня вместе со столом, со всей комнатой, уменьшаясь и расплываясь. Стены скользят мимо, унося его все дальше, а картины, наоборот, увеличиваются, надвигаясь, и паутины на них раскидываются от пола до потолка жуткими искореженными ромбами. Закрываю глаза, но так еще страшнее, потому что слышны голоса. Еле слышный шепот тех, кто запутался в паутине и не вышел отсюда. Леопард. Тень. Это страшное место. Самое страшное в Доме. Как бы его ни мыли и ни надраивали, от него несет мертвчиной. Меня встряхивает так, что лязгают зубы. Передо мной лицо Януса, паутина исчезла.

— Что с тобой? — спрашивает он. — Ты в порядке?

— Не делайте этого, — говорю я.

Он отпускает меня и выпрямляется.

— Этого делать нельзя...

Янус качает головой:

— Уже не я решаю. Мне очень жаль. Да что с тобой творится?

Что творится? Со мной творится Могильник. Сущая ерунда по сравнению с тем, что предстоит Лорду.

— Извините, — говорю я. — Мне слишком плохо здесь.

Он наливает воды в стакан, дает мне выпить. Забыв про грабли, пью из его рук.

— Здесь? — переспрашивает он. — Только здесь?

— Вы знаете, о чем я говорю.

— Догадываюсь. Эти ваши странные суеверия. Ты уверен, что совершенно здоров?

Я молчу. Совершенно здоровых людей не бывает. Пауку ли об этом не знать. Янус опустил веки икусает губу. Сгорает от любопытства. Долго ждать его вопросов не придется. Он достает из ящика сигареты, и я понимаю, что вопросов будет даже больше, чем я думал. Ян садится на край стола.

— Откуда берется этот страх? — спрашивает он. — Почему? Я сталкиваюсь с этим слишком часто, чтобы просто отмахнуться. Когда в моем собственном кабинете, — он оглядывает стены, словно желая убедиться, что это именно его кабинет, — кого-то прошибает холодным потом... Я хочу знать, чем это вызвано. Если бы такое происходило только с тобой, все было бы понятно. Я отправил бы тебя к специалисту, и проблема была бы решена, — он затягивается, внимательно глядя мне в глаза. — Можешь не отвечать, если не хочешь...

— Я отвечу. Только мой ответ вас вряд ли удовлетворит. Это плохое место для любого из нас. Есть хорошие места, и есть места плохие. Это плохое. А объяснять почему — долгая история.

Янус молча ждет продолжения.

— И раз вы все равно не собираетесь пускать меня к Лорду...

Его плавно переходящий в лысину лоб собирается гармошкой морщин.

— Ты что, торгуешься? — спрашивает он удивленно. — Со мной?

— Торгуюсь. Между прочим, я когда-то написал на интересующую вас тему статью, так что вполне компетентен в данном вопросе. Обширная статья с цитатами из классиков и с интригующим названием: «Могильник — вне и внутри нас». Как вы, наверное, уже догадались, сейчас я набиваю себе цену. Так принято, когда люди торгаются.

Янус смотрит с таким изумлением, что становится смешно.

— Ничего не понимаю, — признается он. — Какая статья? Где?

— Всего-навсего в журнале, выходящем в десяти экземплярах.

Он облегченно вздыхает:

— Теперь понял. Это ваш журнал. О чём он?

— Обо всем. Выходит дважды в год, так что тем хватает. Авторы подписываются неопознаваемыми кличками, и каждый пишет о чём вздумается. Я написал о Могильнике, а в следующем номере было много откликов. Они бы вас заинтересовали не меньше, чем сама статья.

Янус кивает:

— Торг идет на два номера, то есть на годовую подписку. Кот в мешке. Даже два кота.

— На визит к одному дракону. По-моему, честно.

— Не пойдет, — с явным сожалением отвечает Янус. — Это значило бы поступиться принципами. Пойти на поводу собственного любопытства. Потом я бы сам себя стыдился.

— Как хотите.

Несмотря на отказ, вздыхаю с облегчением. Хорошо, что он не согласился. Мне бы не хотелось, чтобы он прочел тот мой опус. Там было слишком много сказано. Как в картинах Леопарда. Мельком смотрю на них — и тут же отвожу взгляд. Только не хватало еще раз «поплыть». Приковываюсь к Янусу. Стараюсь смотреть только на него. Он нарочито демонстративно оглядывается в поисках того, чего ему все равно не увидеть, и гасит сигарету в пепельнице.

— Ты отвратительно выглядишь, — говорит он. — Ступай выспись, поешь, приведи нервы в порядок и возвращайся.

В голосе раздражение — я и мои страхи его достали. Должно быть, они видны невооруженным глазом.

— Иди, — повторяет Янус. — Все устали. Завтра выходной. Я разрешу тебе зайти к нему.

— Не выйдет, — терпеливо объясняю я. — Был бы рад послушаться, но не могу. Пока не увижу с Лордом, я не могу ни спать, ни есть, ни смотреть в глаза нашим. Не могу вернуться ни с чем и завалиться в кровать. Я не сделал того, что должен был сделать, — неужели вы не понимаете?

— Я должен потакать тебе в твоих капризах?

— Это не каприз. Вы это прекрасно знаете.

— Он должен от вас отдохнуть. Ему нужен покой. Ты в своем истеричном состоянии только навредишь ему.

— Покой у него будет там, куда вы его отправите. И навредят ему там намного больше. Знаете, как здесь говорят о тех, кто ушел из Дома? Как о покойниках. А вы не даете мне побыть с человеком, который скоро для нас умрет.

Янус слезает со стола. Трет лицо, длинный и сутулый, больше, чем когда-либо, похожий на того себя, каким его изобразил Леопард.

— Знаешь... — говорит он, — если ты просидишь в моем кабинете еще немного, я, пожалуй, не смогу больше оставаться тут один. Мне станет мерещиться бог знает что, пока я окончательно не уверюсь, что это и впрямь страшное место. Не знаю, как ты этого добиваешься, но с этим трудно бороться.

— Я не добиваюсь, — говорю я. — Я так чувствую.

— Пойдем, — он открывает дверь и придерживает ее для меня. — Мне дороги мой кабинет и мое душевное спокойствие. Поэтому чем быстрее ты отсюда уберешься, тем лучше для нас обоих.

Я встаю.

– Так вы меня к нему пустите?

– Мы идем туда. Как, по-твоему, должен я спросить, хочет ли он тебя видеть?

Идем по Могильному коридору. Он шагает – длинный, как белая башня, я еле волочу ноги, поспевая за ним. Меня можно свернуть в жгут и использовать вместо половой тряпки. Конечно, я добился своего, но для самого главного, ради чего все затевалось, уже не осталось сил. Сворачиваем в боковой коридор. Задержавшись у длинного непрозрачного шкафа, Янус вытаскивает из него халат и бросает мне:

– Подожди здесь. Сейчас вернусь.

Я жду, рассматривая композицию из кактусов в розовых горшочках, подвешенных на проволочной конструкции, чем-то напоминающей паутину. Еще одну. Этот коридорный аппендиц, выстланный белым линолеумом, сверкает под лампами, гордо демонстрируя главное качество Могильника – стерильность. При желании с него можно есть. Но я всего лишь сажусь на пол и прислоняюсь к стене. И привожу в порядок расшатанные нервы простым внушением. «Ты не пациент, ты здесь проездом. Пробегом. Ты уйдешь, когда вздумается. Помни об этом и терпи».

Когда-то давно в статье о Могильнике я расковырял слово «пациент». Препарировал его, разложил на микрочастицы. И пришел к выводу, что пациент не может быть человеком. Что это два совершенно разных понятия. Делаясь пациентом, человек утрачивает свое «я». Стирается личность, остается животная оболочка, смесь страха и надежды, боли и сна. Человеком там и не пахнет. Человек где-то за пределами пациента дожидается возможного воскрешения. А для духа нет страшнее, чем стать просто телом. Поэтому Могильник. Место, где отмирает дух. Страх, которым пропитаны здешние стены, неистребим. В детстве я не понимал, откуда взялось это название. Старшие оставили его нам в наследство вместе со своим ужасом перед этим местом. Чтобы до него дорasti, потребовалось время. Много времени и страшных потерь. Подрастая, мы как будто заполняли нишу, вырубленную до нас, но по нашей мерке. Пока не заняли ее целиком. Пока не поняли смысл всех названий, придуманных когда-то, и не повторили почти все действия, уже проделанные. Даже безобидный «Блюм» был чьим-то прправнуком, целиком наше детище – и повторение старого. Я не сомневался: если найти номера его предшественников и покопаться в них, всплынет не один крик ненависти к Могильнику, аналогичный моему.

Янус выходит и кивает на дверь:

– Можешь войти. Через четверть часа зайду и проверю, как на него действует твое присутствие. Если он будет расстроен, ты здесь больше не появишься.

– Спасибо, – говорю я и вхожу.

Белизна кафельных стен слепит. Палата крошечная, одноместная. Окон нет. Лорд сидит, укрытый до колен, в уродливой серой пижаме с завязками у горла. На тумбочке рядом с кроватью – поднос с тарелкой овсянки и стаканом молока. Нелепая пижама Лорду к лицу, как, впрочем, все, в чем мне доводилось его видеть. По теории Табаки, Золотоголовый останется красив, даже если его вываливать в деръме, а уж какие-нибудь живописные смола и перья сделают его просто неотразимым. Человек, непривычный к Злому Эльфу, в его присутствии теряется, погребенный под кучей комплексов. Привычный и очень голодный может отвлечься тарелкой овсянки. Как это происходит со мной.

Она прекрасна! В тарелке с каемкой из мелких розовых цветочков, с золотистой лужицей масла по центру, нежно-бежевая, уже подернувшаяся застывшей корочкой, но явно еще теплая... как раз в меру. Гляжу, как загипнотизированный, умирая от желания наброситься, с чавканьем и урчанием вылизать тарелку начисто, с хлюпом втянуть молоко, упасть и уснуть. Смешно, но чем отчетливее я себе это представляю, тем мне голоднее. Даже ноги начинают подкашиваться. Еще немного – и я свалюсь замертво. Лорд удивленно таращится.

– Привет, – бросаю ему, не отрывая взгляда от овсянки. – Как дела?

Да. Явно, что-то не то несу. Какие у него могут быть дела? Дурацкий вопрос. Но надо

же было что-то сказать.

Лорд кривит губы.

– Какие дела? О чём ты?

Молчу. Тупо и безнадежно. Овсянка остывает. Лорд смотрит хмуро.

– Ты случайно не голоден?

Вежливый вопрос. Как это мило с его стороны!

– Случайно – очень да!

– Тогда, может...

Дальше не слушаю. Коршуном падаю на овсянку и истребляю ее. Кажется, все-таки ложкой, потому что по окончании трапезы обнаруживаю ее торчащей в зажиме правой грабли. Правда, черенком наружу, так что не совсем понятно, как я умудрился с ее помощью есть. Но это уже мелочи. Все еще трясясь от жадности, чудом не задохнувшись, обессиленно опускаюсь на край кровати.

– Спасибо, Лорд. Это звучит банально, но ты спас мне жизнь.

Подбородок Лорда вздрагивает.

– Я заметил. Извини, это бросается в глаза.

До меня потихоньку начинает доходить юмор ситуации. Предполагаемый утешитель и ободритель явился измордованный, безумными глазами уставился на овсянку и слопал ее, едва дождавшись приглашения. Сожрал обед больного.

– Да. Нехорошо получилось, – признаю я.

Лорд начинает хохотать. Я тоже. Смеемся до слез, истерично, как пара психов. Я даже начинаю опасаться за овсянку, но до этого дела не доходит. Веселье обрывается так же внезапно, как началось. Лорд мрачнеет.

Неприятная пауза. То, чего я опасался с самого начала. Между нами вырастает щит. Обитый железными бляшками, с фамильным гербом – двухголовым вараном-переростком на фоне трех ярко-красных полос.

– Какая сука?.. – начинает Лорд тоном, от которого на гербе появляется четвертая красная полоса: «Склонен к насилию, опасен, нуждается в строгой изоляции».

– Черный, – поспешно перебиваю я, пока красных полос не стало пять или даже, не приведи господь, шесть. – И не смотри на меня так. Я тоже виноват. Надо было получше к нему принюхаться, когда он вдруг вызвался посидеть с тобой. Если тебя это хоть немного утешит, я его чуть не отправил на тот свет.

– А он – тебя, – усмехается Лорд.

– Куда ему.

Еще одна пауза. Лучше бы он ругался. Молчать этот тип умеет до жути выразительно. И долго. Так что мы сидим и молчим, а тишина сгущается вокруг душным облаком. Нечто странное присутствует в ней. Лорд скорее растерян, чем зол. Возможно, это результат лечения, а может, и что-то другое.

– Что теперь со мной будет? – спрашивает он, когда я уже расстался с надеждой продолжить разговор.

– Не знаю. Как повезет.

Не слишком честно, но не говорить же, что шансов практически нет. Я бы и не смог. Лорд, тем не менее, сникает, как будто я сказал все как есть.

– Дерьмо, – шепчет он. – Надо же было так вляпаться...

Я молчу. Собственное бессилие пожирает меня. Скоро останутся одни кости. После смерти Волка довольно знакомое чувство. В свое время оказалось, что я вполне могу с ним жить. Теперь мне придется пройти через это вновь, утешаясь тем, что бывало и хуже. По крайней мере Лорд останется жив.

– Слушай, – говорит он. – Ты пил когда-нибудь «Дорогу»?

– Нет. Даже не пробовал. Ни «Дорогу», ни «Белую радугу», ни «Четыре ступеньки».

Лорд глядит странно. Его распирает от желания что-то рассказать, и вместе с тем он боится это делать.

— А ты поверишь, если я скажу, что попал черт знает куда и прожил там не меньше четырех месяцев?

Спрашивает — и отводит взгляд. Пальцы терзают край одеяла, губы кривятся в усмешке, как будто я уже разразился протестующим квохтаньем, перекрестился граблями и упал в обморок.

Верю ли я? Смотрю внимательнее — и замечаю то, что должно было броситься мне в глаза сразу, не отвлекись я овсянкой. Он выглядит старше. Исчезли последние следы юношеской пухлости, нежный овал лица как будто сточили. Лицо стало жестче. Теперь уже не скажешь, что ему нет двадцати. Неопределенность возраста — основная примета прыгуна — проступает в нем так отчетливо, что остается только выругаться. Не разглядеть такое может разве что Черный.

Мое возмущение, должно быть, заметно невооруженным глазом, потому что Лорд усмехается еще презрительнее:

— Ну да, конечно. Теперь ты тоже думаешь, что я спятил.

— Я думаю, что спятил сам. Что мне давно пора на свалку! Господи, не разглядеть прыгуна с двух шагов! Каким же надо быть идиотом!

Он недоуменно моргает:

— Что случилось, Сфинкс?

Беру себя в руки. Какого черта я сюда приперся? Уничтожать чужой ужин? Страдать от сонливости, ничего вокруг не замечая, а, заметив, после того как ткнули носом, ругаться? Человек поделился со мной самым сокровенным, и как я на это реагирую?

Закрываю глаза. О некоторых вещах не принято говорить прямо, но, когда уже испортил все, что мог, надо за это расплачиваться.

— Это была заброшенная местность, — говорю скороговоркой, не открывая глаз, — раздолбанная трасса, вокруг — поля, изредка попадаются домики. Большая часть заколочена. Из основных примет... ну разве что закусочная. Она торчит где-то там на обочине. По-моему, на нее выходит каждый второй прыгун. Некоторые натыкаются и на заправку, но реже...

Кружится голова. Совсем чуть-чуть, но это тревожный признак.

— Извини, Лорд. Об этом нельзя долго говорить. Я не знаю, что было с тобой потом и куда ты попал, но дорога на «ту сторону Дома» для всех начинается одинаково. Почти для всех. Я угадал?

Перестаю жмуриться. Глаза Лорда заняли пол-лица. Как у лунатика, которого внезапно разбудили. Самое время явиться Яну и встретить его безумный взор. Беспокойно озираюсь на дверь.

— Все, Лорд. Соберись. Ты ничего не слышал. Оставь в покое одеяло, сосчитай до ста, выпей молока. Ян обещал зайти. Будешь так дико таращиться, тебя нашпигают таблетками и запакуют в смирильную рубашку.

Лорд судорожно кивает, изо всех сил пытаясь последовать моему совету. Кажется, даже считает до ста. Выражение лица, во всяком случае, соответствующее. Дойдя, по моим прикидкам, до восьмидесяти шести, он не выдерживает:

— Ты же никогда не пил ничего такого! Откуда ты знаешь?

— Дом — странное место, Лорд, — говорю я. — Здесь у людей похожие глюки. По крайней мере начинаются они похоже. И вовсе не обязательно что-то пить или жевать. Я даже думаю, что, если какую-нибудь из смесей, над которыми у нас колдуют так называемые «знатоки», вынести в Наружность и кого-нибудь там угостить, ничего особенного не случится. Ну, может, живот поболит. Ни в чем нельзя быть уверенными, конечно, но мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь.

— Так это не я спятил? — уже спокойнее уточняет Лорд. — То есть не я один.

— Последнее утверждение ближе к истине, — соглашаюсь я.

Тут наконец появляется Янус. Лорд старательно изображает безмятежность. Я выпрямляюсь, сердобольный и участливый, как бабушка, дорвавшаяся до любимого внучка.

— Как вы тут? — интересуется Ян. — Еще не деретесь?

Мы дружно протестуем. Посмотрев на поднос с опустевшей тарелкой, Ян удовлетворенно кивает.

— Можешь остаться еще ненадолго, — говорит он мне. — Полчаса, не больше.

Ян исчезает.

Теперь можно торчать в палате Лорда хоть до завтрашнего утра, никакие Паучихи не явятся, чтобы меня отсюда вытолкать.

— Дай сигарету! — клянчит Лорд, как только за Янусом хлопнула дверь.

Лезу граблей в карман. Она там благополучно застревает и копошится, как глупое насекомое, безо всякого толку. Лорд притягивает меня к себе, освобождает бедную конечность и достает сигареты. Зажигалку мы находим в другом кармане. Я слезаю с кровати и сажусь на пол спиной к тумбочке. Дружно затягиваемся. Лорд — жадно. Я — обреченно.

— Расскажешь?

Должно быть, сверху мои покачивания лысиной выглядят особенно удручающе.

— Прости. Не могу. Об этом не говорят.

— Я почему-то так и думал. Законы Дома, чтоб их все перезабыли, так?

— Никаких законов. Все получается само собой. Я, например, не суеверен, но вполне может статья, что, если я сейчас начну делиться с тобой впечатлениями, мой следующий визит «на ту сторону» закончится не очень хорошо. Правда, я в те края не собираюсь, но кто может знать? О таких вещах никто ничего толком не знает. А болтать о том, чего не понимаешь, не стоит.

Некоторое время мы молча курим. Линолеум подо мной испещрен следами кроватных колесиков, стены, на метр облицованные белым кафелем, слепят, отражая свет ламп. Я чувствую, что я в неподходящей обстановке, в неподходящем месте и беседую на неподходящие темы. Без сомнения, тема еще не закрыта. Лорд слишком взбудоражен, чтобы притормозить только потому, что я его об этом попросил. Я не сомневаюсь и в том, что так или иначе, рано или поздно мне это выйдет боком. Поясница мерзнет, в позвоночник врезается ручка от ящика на тумбочке, но моя усталость перешла в оцепенение, я просто не в состоянии сдвинуться с места.

— Откуда ты знаешь о других? — спрашивает Лорд. — Все-таки кто-то что-то рассказывает?

Это называется «подкрасться исподволь». Вроде бы, совсем не о том говорим и в то же время о чем же еще? Задираю голову, но вижу только его локоть и сизые струйки дыма. Пепел он стряхивает в тарелку из-под овсянки. Варварство, но все лучше, чем пачкать простыни. Завистливо думаю, что мне в свое время никто ничего объяснять не удосуживался. В какой бы форме я ни задавал свои вопросы. С какого бы конца ни заходил и как бы искусно ни подкрадывался к теме. В моем случае это было бессмысленно.

— Слушай, Лорд, — говорю миролюбиво. — Попробуй ответить на свой вопрос сам. Ты же не Курильщик. Подумай хорошенъко.

Метод Слепого. Хотя он бы умер от изумления, услышав, как я его применяю. Он в таких ситуациях выразительно молчал. Мне полагалось расслышать сакримальное «думай сам» в его молчании, подумать и, прия к каким-либо выводам, держать их при себе. Очень удобно. Доведись Бледному учить кого-нибудь плавать, он просто зашвырнул бы объект обучения подальше в воду и уселся ждать. Единственный продукт такой радикальной системы образования — я сам, и можно только восхищаться моей живучестью.

Пока я мысленно поминаю годы своего ученичества недобрый словом, Лорда осеняет:

— Ночь Сказок?

— Молодец!

И похвалы в системе обучения Слепого не приветствовались, но я все же не он.

— Знаешь, как она раньше называлась? «Ночь, когда можно говорить». Слишком прозрачно, да?

— Стихи, песни... — бормочет Лорд. — Кто-то мог проговариваться спяну. Песни

нетрезвого Табаки иногда звучат очень странно...

Я поворачиваюсь к нему и кладу подбородок на край постели. Удобная и рискованная поза. Можно невзначай задремать. Лорд никогда мне этого не простит.

– Ну? – спрашиваю сонно. – Еще? У тебя хорошо получается. Про пьяных ты угадал. Про песни тоже. Можно еще в какой-нибудь четверг посетить собрище поэтов в старой прачечной. Вытерпеть полтора часа унылых завываний и узнать что-нибудь интересное. Но это на любителя.

Лорд еще какое-то время размышляет.

– Иссяк, – признается он наконец. – Больше ничего не могу угадать. Разве что кто-нибудь не очень суеверен и говорит на эти темы вслух.

Я понимаю, что он действительно иссяк. Лицо у него усталое.

– Стены, – говорю я, сжалившись. – Ты читаешь все, что на них написано? И никто не читает. Кроме тех, кто знает, что ищет и где смотреть. Вот ты картежник. Ты знаешь, где проставляются результаты игр, правильно? Некартежники их и за год не найдут.

Лорд хватается за голову:

– Конечно! Какой я идиот! Я сам сто раз...

Все. Ближайшие пару дней мы будем лицезреть прилипшего к коридорным стенам состайника. И отскребать его в обеденный перерыв. Я вдруг спохватываюсь, что, скорее всего, никакой лишней пары дней у него не будет, и эта мысль меня замораживает. Ни стен, ни тем более поэтических собрищ. Я просто забыл об этом, стараясь держаться безмятежно. Перестарался. В груди ноет щемящее чувство утраты. Неуместное в присутствии Лорда, который пока еще здесь.

– Знаешь, – говорю я, – что означает случившееся с тобой? Что Дом взял тебя. Пустил в себя. Где бы ты ни был, ты теперь – его часть. А он не любит, когда его части разбросаны где попало. Он притягивает их обратно. Так что не все потеряно.

Лорд морщится, вдавливая в многострадальную тарелку окурок.

– Ты сам-то в это веришь? Или просто пытаешься меня утешить?

– Вообще-то я себя пытаюсь утешить. Но еще Седой говорил: слова, которые сказаны, что-то означают, даже если ты ничего не имел в виду.

Он смеется, выуживая из пачки новую сигарету:

– Не знаю, кто такой этот Седой, но раз он что-то такое говорил, я, пожалуй, утешусь. Если вдуматься, «Седой» звучит не хуже, чем «Аристотель». А ты ложись, поспи здесь, если хочешь. Вид у тебя такой, словно ты не доберешься до спальни.

Поспать в Могильнике? Почему бы и нет. Если Лорду не хочется оставаться в одиночестве. Встаю и пересаживаюсь на соседнюю кровать. Их тут две, как нарочно. И вторая тоже застелена.

– Ты прав. Собеседник из меня сейчас никудышный, а до спальни я действительно могу не дойти.

Вытянувшись на койке, заправленной одеялом асфальтового цвета, я испытываю непередаваемое блаженство.

– Спасибо, – шепчу, уже закрыв глаза. – Ты второй раз за день спасаешь мне жизнь.

Он опять смеется.

– Сфинкс, – я так и не понял, сразу он меня окликнул или мне все же удалось немного поспать, – скажи, а я смогу уходить на «ту сторону» из других мест? Из Наружности?

Выкарабкиваюсь из сна, одновременно пытаюсь удержать его, как теплое одеяло, которое с меня стаскивают.

– Что? Не знаю, – собственный голос кажется чужим, он заглушен одеялом, которого нет, – никто не проверял, некому было. И знаешь что... те места не так безобидны, как тебе могло показаться. Среди них попадаются довольно жуткие. Я просто вычислил, что там ты не продержался и двух месяцев...

Я бормочу что-то еще, ведь то, что он спросил, – важно, и надо бы объяснить... но наваливается сон, облепляет лицо липкими комьями ваты, которые мешают говорить, и я,

незаметно для себя, проваливаюсь в него. В тяжелый, нехороший сон, где человек со стальными передними зубами и лицом, покрытым мелкими шрамами, называет меня «маленьkim ублюдком», бьет за каждую провинность и обещает скормить своим доберманам, которых у него пять. Пять тощих, остромордых, невменяемых псов в переносных клетках. В мои обязанности входит их кормежка и уборка за ними, я ненавижу их почти так же сильно, как нашего общего хозяина, а они отвечают мне тем же. Мне тринадцать лет, я беспомощен, одинок и знаю, что никто меня не спасет. *Это он приучил меня к пиву. Просто в его чертовом пикапе никогда не было воды...*

Просыпаюсь резко, как от пощечины, кажется, даже с криком, и вскакиваю, мокрый от старого кошмара, с отдающимся в ушах хохотом. Утробным «хо-хо-хо», причиняющим почти физическую боль.

В палате полумрак, горит только ночник над кроватью Лорда. Золотоголовый добивает мою пачку, сидя все в той же позе, очень прямой и задумчивый. Запах табака полностью забил лекарственный дух Могильника, теперь его не истребит никакое проветривание.

— С пробуждением, — без особого энтузиазма приветствует меня Лорд.

Я нагибаюсь к постели, еще сохранившей отпечаток моего тела, к влажному пятну там, где покоился мой затылок, и вытираю лоб о шершавое одеяло. Потом иду к Лорду. Кости ноют, словно, пока я спал, кто-то на мне попрыгал, что вообще-то недалеко от истины. Лорд протягивает коротенький окурок:

— Извини, больше не осталось. Делать было нечего. Тут ужин принесли...

И ничего не сказали про дым и мою дрыхнущую в неподложенном месте персону. Красота — страшная сила. Действует даже на Паучих. А на них почти ничего не действует.

Лорд вставляет окурок мне в зажим, избегая смотреть в глаза:

— Ты кричал во сне. И говорил. Жуткие вещи.

Я затягиваюсь, почесывая граблезубцем зудящую бровь под пластырем.

— Могильник на меня плохо действует. Почти всегда. Не стоило здесь засыпать.

— Кто этот человек? Он существует?

Кафельная облицовка стен еле уловимым эхом отражает наши голоса.

— Может быть. На «той стороне». Если его никто еще не прикончил. Давай не будем о нем говорить.

— Давай, — Лорд отбрасывает волосы с лица и наконец смотрит мне в глаза. Как будто видит впервые. — Уже поздно. Тебе, наверное, пора. Если не заперли вход.

Мне действительно пора уходить, но ужасно не хочется оставлять его в месте, где ко мне приходил «стальнозубый». Пусть даже во сне. Лорд напуган, а значит, открыт для любого рода нечисти, которой вздумается его посетить. Хотя не мешало бы запастись едой, сигаретами, прочими полезными вещами и предупредить народ, что я ночую в Могильнике.

— Проверю дверь, — говорю я Лорду. — Если заперто, сразу вернусь. Если нет, схожу к нашим. Может, даже принесу чего-нибудь пожевать.

Лорд кивает:

— Давай. Там, снаружи, — свет, будь осторожнее.

Машу ему граблей и открываю дверь в белоснежно-голубой коридор.

Ночной Могильник — как замок с привидениями. Ненавижу его синеватый свет, превращающий лица в посмертные маски. Дойдя до поворота, сворачиваю за угол. По обе стороны мое скользящее отражение ловят стеклянные дверцы шкафов. Иду быстро. Здесь негде спрятаться, но я отчего-то уверен, что это не понадобится. И оказываюсь прав. Пост дежурной сестры освещен, как огромный аквариум, в центре которого плавает стылый лик Медузы Горгоны. Открой она глаза, мне придется окаменеть, положившись на неспособность некоторых хищников обнаружить неподвижный объект. Но Паучиха спит. Глаза закрыты, только зловеще поблескивают круглые очки. Прокрадываюсь мимо.

Входная дверь не только не заперта, она слегка приоткрыта. Меня это удивляет, но, выйдя в темноту площадки перед Могильником, я вижу равномерно вспыхивающие оранжевые точки и перестаю удивляться. Они здесь. И ждут уже давно. У них еда в

рюкзаках, бутылки с водой, пледы, кофеварка и даже, наверное, посуда. Кто-то встает мне навстречу. Они успели привыкнуть к темноте, один я ничего не вижу, но, судя по тому, как уверенно передвигается этот кто-то, он, скорее всего, Слепой.

– Янус сказал, что все плохо? – то ли вопрос, то ли утверждение, у Бледного вечно не разберешь.

– Вроде того.

– Тогда пошли, – он оборачивается к сидящим у стены. – Вставайте. Сфинкс нас проводит.

И я их провожаю. Причудливой вереницей мы проплываем мимо аквариума с подсвеченной Горгоной, мимо стеклянных шкафов и непрозрачных дверей – странные длинные тени. Самая гротескная – та, что состоит из двух – Табаки на плечах Лэри, – она выше всех и самая лохматая. Здесь нет Черного и Курильщика, зато Македонский тащит спящего Толстого, отражение которого в дверцах шкафов больше напоминает пухлый рюкзак. Я пропускаю их вперед и иду следом, любуясь и восхищаясь. Это моя стая. Читающая мысли, ловящая все на лету. Нелепая и замечательная. Запасливая и драчливая. Я могу полностью раствориться в нежных чувствах к ним – Черного нет, и некому сбить с меня сентиментальный настрой. Но, боже мой, до чего же нас мало! Спохватившись, что отстал, тогда как следовало бы идти впереди, показывая дорогу, я убыстряю шаг и краем глаза ловлю последнее отражение в последнем шкафу – Македонского, утаскивающего за поворот свою сопящую ношу, почти слившегося с ним Сфинкса и еще кого-то, мелькающего белыми кроссовками сразу за нами, но исчезающего, стоит мне обернуться. Мне становится совсем хорошо. Специально для этого – последнего, невидимого – я начинаю вслух читать стихи. Совершенно дурацкие, такие, какие любил когда-то Волк:

Зеленый день падучей саранчи...
Предместных гор седые очертанья,
А от полей до дома – две сумы.
Две полновесных сумки стрекотанья...

Дом Интермедиа

Хламовник встретил их насмешками и хихиканьем.

– Хвост Слепого вернулся! – крикнул Пышка.

Зануда и Плакса выбили барабанную дробь на днищах дырявых кастрюль.

– Хвост Слепого! Хвост Слепого! – пропели они.

В голосах не было враждебности. Скорее удивление. Как будто месяц в лазарете вычеркнул Кузнецика из их жизни.

Волк жадно озирался по сторонам.

– И... и Сероголовый с ним, – неуверенно добавил Пышка.

Почти вся группа была в фуфайках с яркими, кричащими надписями. Кузнецик понял, что эта мода появилась в его отсутствие. Фуфайки сообщали: «Объятый пламенем!», «Моя жизнь – сплошное разочарование», «Держись подальше!» Лица над яркими надписями казались взрослеем.

Спортсмен лежал на своей кровати, свесив ноги, и листал журнал. «Обстоятельствам не поддаюсь» – прочитал Кузнецик его надпись. На них с Волком он даже не взглянул. Волк опустил на пол сумки.

– Привет, Белобрысый! – сказал он Спортсмену.

Зануда и Плакса сразу перестали стучать. Спортсмен мимолетно глянул поверх журнала.

– Пышка, объясни этим, что я давно Спортсмен, – сказал он.

— Он уже давно Спортсмен, а не Белобрысый, — покорно повторил Пышка.

Волк сделал удивленное лицо:

— А волосы не потемнели.

Пышка обернулся за подсказкой, но погруженный в журнал Спортсмен его проигнорировал.

— Волосы Спорта тебя не касаются, — важно сообщил Пышка. — И тебя тоже! — рявкнул он на Кузнецика, хотя Кузнецик о волосах ничего не спрашивал. С Кузнециком Пышка чувствовал себя увереннее.

Румяный и щекастый, похожий на откормленного поросенка, он прохаживался перед ними, не давая войти, а они ждали на пороге, пока ему это надоест.

— Вот что, — остановился Пышка и подтянул штаны. — Твою кровать, мамашина детка, мы отдали новичку. Фокуснику. Так что будешь спать в той комнате. И скажи спасибо, что вообще не отправляем к колясникам.

Кузнецик, давно заметивший на своей кровати чужие вещи, промолчал.

— Нам тут всякие дохляки, вроде тебя, не нужны, — закончил Пышка. — И вроде него! — палец Пышки переместился на Волка. — Такие, как он, и вовсе не нужны.

— Это Спортсмен придумал? — спросил Волк.

Спортсмен не снизошел до ответа. Только вытянулся во весь рост, зевнул и перелистнул страницу.

— Хвостик у нас теперь с ручками, — пробормотал он, не отрываясь от журнала. — Чудеса...

Кузнецик посмотрел на свои протезы и покраснел. Глаза Волка зловеще сузились.

Пышка вертелся вокруг, ничего не замечая.

— Давайте, катитесь. Здесь комната стаи. Не для всяких дохлых, по Могильникам шастающих.

Волк оттолкнул его.

— Ладно, я дохлый, — сказал он брезгливо. — А вы все здоровяки. Особенно ты и Чемпион. Или как там его теперь называют... Белобрысый. Значит, так. Раз уж вы нас отсюда выперли, мы будем жить в той комнате по своим дохляцким законам, и пускай всякие здоровяки, вроде вас, к нам не суются. Ясно?

Кузнецiku не терпелось уйти. Он незаметно наступил Волку на ногу.

— Хватит, Волк. Пошли отсюда.

Волк поднял сумки.

— Мы уходим, — предупредил он. — В свою комнату. Кто не считает себя здоровяком, может перебираться к нам. Места навалом.

Зануда и Плакса растерянно постучали в кастрюли.

— Эй! — возмутился Пузырь, подъезжая к Волку на роликах. — Что значит «ваша комната»? Я тоже там сплю, между прочим.

— Больше не спиши, — отрезал Волк. — Ты ведь здоровяк, так?

Пузырь оглядел себя.

— Не знаю. Не уверен.

— Ну хватит здесь распоряжаться, — Спортсмен привстал на кровати, отложив журнал. — Обнаглели! Катитесь на все четыре стороны, а Пузырь, где захочет, там и будет спать, не вам ему указывать!

Стая молчала. Новичок на костылях, умевший показывать фокусы, грустно смотрел на Кузнецика. Ему тоже хочется уйти с нами, догадался Кузнецик. Но ему досталась моя кровать. Его теперь не отпустят.

Они вышли в коридор, и кто-то запоздало засвистел им вслед.

Кузнецик засмеялся:

— Я этого и хотел.

— Знаю, — сказал Волк.

Они вошли в соседнюю дверь, и Волк включил свет. Комната была голая и уродливая.

Два ряда железных кроватей со скатанными матрасами, только три из них застелены. Слепой, сидевший на полу у стены, поднял голову. Он совсем не подрос, хотя, может, по нему просто не было видно. Только волосы стали длиннее. Мода на фуфайки с надписями до него не дошла. Он был в клетчатой рубашке со взрослого плеча. В рубашке Лося, которая была для него слишком длинной.

— Привет, Слепой! — радостно сказал Кузнечик. — Это я. И Волк. Нас выгнали сюда. А ты уже здесь!

— Привет, — поздоровался Волк, опуская на пол сумки.

— Привет, — прошуршал Слепой.

Волк оглядел комнату.

— Грустно, — сказал он. — Но мы сотворим здесь райские кущи.

Кузнечик встрепенулся.

— И я смогу сотворять?

Ему не терпелось испробовать протезы.

— Я же сказал: «Мы», — кивнул Волк. — Живущие здесь. Слепой, ты не против?

Слепой внимательно слушал, чуть склонив голову.

— Нет. Сотворяйте, что хотите.

Волк подошел к застеленным кроватям.

— Которая тут кровать Пузыря?

— Вторая от окна.

Волк сгреб лежавшие на кровати вещи и потащил их к двери. Потом вернулся за бельем.

— Крючка тоже будем выселять? — с надеждой спросил Кузнечик.

Волк остановился.

— Не знаю. Как он сам захочет.

Перетащив вещи Пузыря в коридор, Волк вернулся. Хламовник за стеной шумел топотом и голосами. Волк подбежал к подоконнику и лег на него животом, не обращая внимания на пыль.

Кузнечик пристроился рядом. Волк пожирал двор глазами. У него был вид собственника. Кузнечик часто видел таким Слепого, а Волка еще никогда. «Как они уживутся?» — с тревогой подумал он, оглядываясь на Слепого.

Слепой сидел у стены и слушал. Не шум Хламовника. Он слушал Волка. Настороженно и незаметно.

Не будь здесь Волка, он поговорил бы со мной. Рассказал бы, что было, пока меня не было, обрадовался бы моему приходу по-настоящему, а не так, как сейчас, — все про себя и ничего на виду.

Кузнечику стало грустно.

— Слепой, — спросил он, — а знаешь, что написано на одежках Зануды и Плаксы? «Не беспокой одиночку». У обоих.

Слепой улыбнулся. Волк весело фыркнул с подоконника:

— Одиночка плюс одиночка — двое одиночек. А еще десять — это уже целое море одиночества.

— Они обозвали нас дохляками, — сообщил Кузнечик. — Сказали, что нам среди них не место.

— Я слышал, — отозвался Слепой.

Кузнечик сел рядом с ним. Рубашка Лося доходила Слепому до колен. Подвернутые рукава валиками закручивались вокруг запястий. Краешки губ вымазаны белым. Опять ел штукатурку. Кузнечик придвигнулся к Слепому и ощутил знакомый запах мела и грязных волос. Он соскучился по нему, но не знал, как выразить свою радость и что сделать, чтобы Слепой ее почувствовал. Можно было только сидеть рядом и молчать. Слепой сидел тихо. Но слушал уже Кузнечика. Не поворачиваясь к нему, он втянул ноздрями воздух и слизнул с губы белый налет.

«У меня тоже есть свой запах», — догадался Кузнечик. Наверное, он у всех есть. У людей, у комнат, у домов. У Хламовника он точно есть, а эта комната пока что не пахнет ничем. Но скоро все изменится.

Он вытянул ноги и закрыл глаза. «Вот мой дом, — подумал он. — Это здесь. Где Волк со Слепым будут ждать меня и беспокоиться, если я где-то задержусь надолго. Это и называется „райские кущи“».

С утра Волк взялся за комнату. Он бегал к Лосю и к старшим, спускался во двор и на первый этаж, притаскивал отовсюду груды того и этого и раскладывал их вдоль стен. Кузнечик не выходил. Они со Слепым стерегли комнату. Волк раздобыл краски в банках и баллончиках, старый этюдник, стремянку и облезлые кисти. Пустые банки он расставил на полу и разложил рядом стопки пожелтевших газет. Кузнечик уже начал уставать от его суеты и мельтешения с разными предметами в руках, но тут Волк объявил, что все готово и можно приступать.

Кузнечик помог расстелить газеты. Волк влез на стремянку и принялся закрашивать стену белым. Дряхлый транзистор распевал тягучие блюзы, хрипел и плоско острял. Кузнечик разгуливал по газетам и, предвкушая разноцветье «райских кущ», тихо подпевал знакомым мелодиям. Слепой отмывал подоконник, разбрызгивая серую воду.

Звонок к обеду застал их врасплох. Волк остался, а Кузнечик и Слепой пошли в столовую. Спортсмен бросал на них уничтожающие взгляды, Пышка строил рожи, синеглазый Фокусник смотрел жалобно и тоскливо. Кузнечик впервые пользовался протезами у всех на виду и от смущения ел очень медленно.

— Спортсмен как-то странно на нас глядит, — шепнул он Слепому.

— Пусть лучше глядит за своими.

— Почему?

— Потому что Волк хитрее него, — туманно ответил Слепой и, сдавив котлету двумя кусками хлеба, сунул бутерброд Кузнечику в карман. Второй такой же бутерброд оттянул другой карман. На обратном пути они украсили куртку Кузнечика двумя жирными пятнами.

Кроме сидевшего на стремянке Волка в комнате оказались Красавица с Горбачом. Хомяк Горбача метался в тазу на одной из кроватей. На подоконнике сушился отмытый до блеска хомячий аквариум. Красавица, высунув язык, неумело, но старательно тер пластмассовый абажур мокрой тряпкой. Горбач, присев на корточки, рисовал на стене непонятного зверя на столбоподобных ногах. Увидев их, он смущенно выпрямился и спрятал карандаш.

Все это было внизу. А выше по белой стене плыли зеленые и синие треугольники, красные спиральки и оранжевые брызги.

«Слепой не видит», — грустно подумал Кузнечик.

— Ну как? — спросил Волк с высоты стремянки.

— Да! — сказал Кузнечик. — Это оно! То самое!

— А это, — Волк ткнул кистью в Красавицу и Горбача, — свежие Чумные Дохляки. Теперь нас пятеро плюс хомяк.

«Вот почему Спортсмен так злился», — понял Кузнечик.

— Можно, я дорисую? — ни к кому не обращаясь, спросил Горбач.

Он вернулся к своему зверю и начал покрывать его полосками. На его голове, как продолжение настенных, блестели оранжевые брызги.

— Мы принесли вам еду, — сказал Кузнечик. — Текущие котлеты.

Ужинать не пошел никто. К вечеру стена была разрисована. Верхняя часть пестрела летающими спиральами и треугольниками, на нижней паслись странные звери. Полосатый зверь Горбача. Тонконогий волк с зубами, как у пилы, — произведение Волка. Улыбающийся хомяк. Красавица намалевал красное пятно, размазал его и заплакал. Общими усилиями пятно превратили в сову.

Кузнечик не смогу держать кисть. Волк обмотал палец протеза тряпкой и окунул его в краску, после чего в шеренге зверей появился гигантский дикобраз с кривыми иголками. Слепой нарисовал жирафа, похожего на подъемный кран и пустого внутри. Горбач его раскрасил. Когда они закончили, краска была повсюду. Газеты, одежда, руки, лица, волосы, хомяк – все было разноцветным. Лось, заглянувший проверить, почему их не было на ужине, застыл на пороге.

– Боже, – сказал он. – Что делается!

– Правда, красиво? – шепнул Красавица. – Это мы все сами придумали.

– Я вижу, – сказал Лось. – Ночевать сегодня будете у меня.

– Нет, – заволновался Кузнечик, – нельзя. Если мы уйдем, Спортсмен и другие тут все попортят. Мы откроем окна и проветрим. Пахнуть совсем не будет. Пожалуйста!

Лось осторожно переступил порог и прилип подошвами к газетам.

– Оппозиция? – спросил он Волка.

Волк кивнул.

– Они сами нас выперли.

Лось разглядывал чумазые лица, пол и банки с краской, потом перевел взгляд на стену. Мальчишки затаили дыхание.

– Вот тут у вас, вроде, пустое место, – сказал Лось.

Пустое место занял зеленый динозавр с фигурой кенгуру, а костюм Лося украсился изумрудными пятнами.

– Да, – заявил Лось, поднимаясь с колен. – Это заразительно. А теперь будем мыться, – он засунул кисть в банку с краской. – Другие стены ждет та же участь?

– Придумаем что-нибудь, – пообещал Волк.

– Не сомневаюсь, – сказал Лось. – Открывайте окна.

Они открыли окна и убрали испачканные газеты. Лось увел Кузнечика и Красавицу отмываться. Он мыл их по очереди. Как только грубая щетка отрывалась от Кузнечика и набрасывалась на Красавицу, Кузнечик засыпал. Среди белого кафеля, под грохочущим горячим водопадом, покачиваясь и впиваясь пальцами ног в решетку стока, чтобы не упасть. Визги Красавицы, заглушенные душем, удалялись, руки Лося встремывали его, появлялась мыльная щетка – и он просыпался. Потом его, завернутого в полотенце, несли куда-то, и он уже не спал, но притворялся, что спит, чтобы не идти самому. В комнате он высунулся из мохнатого кокона.

Горбач, Слепой и Волк сидели рядышком на кровати. Стена сияла перед ними подсыхающим великолепием, и Кузнечику опять стало грустно оттого, что Слепому ее не увидеть. Лось укрыл его одеялом, и Кузнечик притаился под ним, как в теплой норе. Голоса журчали, перекатываясь через него, он не различал слов и, уже засыпая, позвал:

– Слепой...

К нему подкрался кто-то, пахнущий краской.

– Знаешь, – шепнул Кузнечик. – Этот динозавр – он немного выпуклый. Когда высохнет, ты сможешь его увидеть... если потрогаешь...

Пахнущий краской что-то ответил, но Кузнечик уже не слышал. Он спал.

Утром Волк ввинтил новые лампочки, чтобы было светлее. Для двух склеили колпаки из цветного картона, и Волк разрисовал их иероглифами. Третью продели в абажур, отмытый Красавицей. После Красавицы его еще раз мыл Горбач, но Красавица об этом не знал и, проходя под абажуром, всякий раз задирал голову и озарялся счастливой улыбкой, сам как лампочка под черной челкой. Весь день они по очереди стерегли комнату. Стена совсем высохла. Стая Хламовника вела себя подозрительно тихо. Иногда кто-нибудь из них прокрадывался к двери и копошился там, пытаясь заглянуть в замочную скважину. Иногда они стучались и удирали прежде, чем дверь успевали открыть.

Волк и Кузнечик остались сторожить на время обеда. Волк сидел на подоконнике и смотрел в окно. Кузнечик лежал на кровати. В аквариуме шуршал хомяк. За стеной было непривычно тихо. В дверь постучали. Волк, открывавший ее все утро, чтобы обнаружить за

порогом пустоту и услышать топот убегающих ног, не двинулся с места.

— И во время обеда не успокаиваются, — сказал он. — Как маленькие.

Стук повторился. Кузнецик встал.

— Можно? — спросил писклявый голос, и в приоткрывшуюся щель просунулась ушастая голова.

Кузнецик зажмурился. Потом открыл глаза.

— Это что — колясник?

— Да, — сказал гость. — Странно, правда? — и въехал в комнату.

Колясник Вонючка был выдающейся личностью. Кузнецик много чего о нем слышал, хотя никогда не видел вблизи. Знающие люди говорили, что Вонючка — самый вредный колясник в Доме. Младшие ходячие всех колясников считали вредными и капризными, но Вонючку таким считали даже сами колясники. Он таким и был. Глядя на него, воспитатели с тоской подсчитывали оставшиеся до пенсии годы. Соседи по комнате мечтали задушить. Вонючке было девять лет, но за свою короткую жизнь он успел очень многое. Дурная слава бежала впереди него.

— Я приехал посмотреть, — сказал Вонючка. — Будете выгонять?

— Смотри, — разрешил Волк. — Если тебе и правда интересно.

Вонючка уставился на стену. Кузнецик с Волком — на Вонючку. Вонючка был маленький, некрасивый, с огромными нелепыми ушами и огромными круглыми глазами. На розовой рубашке темнели жирные пятна, а таких грязных рук, как у него, Кузнецик ни у кого еще не видел. И все же было приятно, что колясник приехал специально, чтобы посмотреть на их стену.

— Нравится? — спросил он.

Вонючка отвернулся от стены.

— Не знаю. Может, и нравится. А может, и нет. Вы теперь что — отдельная стая? Со своей отдельной комнатой, да?

«Все знает», — удивился Кузнецик.

— Мы не стая, — сказал Волк. — Мы — Чумные Дохляки. Распространители заразы. Так и передай всем, кто спросит.

— О-о! — большие глаза Вонючки загорелись, и он стал похож на охотящуюся сову. — Хорошее название. Я это запомню, — он огляделся. — У вас только пять кроватей застелено. Мало вас одних для целой комнаты.

— Ну и что? Чтобы распространять заразу, вполне достаточно.

— Верно, — Вонючка смущенно поковырял грязную ладонь. — Я просто подумал... может, вам еще один Чумной Дохляк нужен? Я бы не отказался. Я бы тоже заразу распространял. Это я умею.

Кузнецик посмотрел на Волка. Волк посмотрел на Кузнецика.

«Сейчас Волк согласится, — с ужасом подумал Кузнецик. — Он может и не знать, что такое Вонючка. Его слишком долго продержали в Могильнике».

Но Волк, наверное, знал.

— Никто нам не нужен, — сказал он.

Вонючка, похоже, другого ответа и не ждал. Но продолжал смотреть на Кузнецика. Его круглые совиные глаза были слишком большими, почти бездонными, если смотреть в них долго. Они сияли странным, манящим светом, как небо, ощетинившееся звездами. Кузнецик смотрел дольше, чем следовало. Сияние притянуло его.

— Приезжай, — произнес он непослушными губами. — Если хочешь...

Вонючка заморгал, и сияние далеких звезд погасло. Он вытер грязной ладонью нос. Засопел и показал заборчик острых зубов.

— Я только съезжу за вещами. Я мигом, — он развернул коляску и поехал к двери. На удивление резво. Из коридора донеслась его победная песнь. Дверь хлопнула.

Кузнецик попятился и сел на кровать.

— Что я наделал? — спросил он.

Волк смотрел на дверь.

— Ничего особенного, — сказал он, — всего лишь пригласил к нам жить самого известного пакостника в Доме.

Кузнечик чуть не расплакался:

— Волк, честное слово, я не хотел. Не знаю, как это получилось. Он смотрел, смотрел, и я сказал...

— Ладно, не переживай, — Волк сел рядом. — Когда приедет, скажем, что передумали. Большинством голосов. Я ведь не согласился.

Кузнечик лег лицом в подушку. Он чувствовал себя ужасно. В свой дом, в свою родную комнату, он позвал самого противного человека, какого только можно было найти. Как будто нарочно, чтобы все испортить.

Шум возвращавшихся из столовой прокатился по коридору, стихая и рассеиваясь по комнатам. С ревом и топотом промчалась стая Хламовника, постукивая на бегу в их дверь. Вошел Горбач с большим пакетом бутербродов. Следом — Слепой с двумя бутылками молока. Красавица скромно плелся позади всех, и в руках у него ничего не было.

— Мы принесли сосиски, — весело начал Горбач и запнулся. — Что-то случилось? — спросил он шепотом. — Чего вы такие несчастные сидите?

— У нас был колясник Вонючка, — объяснил Волк. — Кузнечик разрешил ему переселиться к нам. Так вышло. Он не хотел.

— Вонючке? — в один голос ужаснулись Горбач и Слепой.

У Кузнецика защекотало в носу. Он молча смотрел в пол.

— Скажем, что это была шутка, — предложил Горбач. — Скажем — Кузнечик пошутил. Ты ведь и правда пошутил, Кузнечик?

Кузнечик смотрел в пол, изо всех сил стараясь не расплакаться.

— Что-нибудь придумаем, — неуверенно сказал Волк. — Может, он сам пошутил и не приедет. Когда это бывало, чтобы колясник просился к ходячим. Скажем — случайно вырвалось. Мало ли что можно сказать. Главное, чтобы он убрался.

Красавица отрешенно смотрел в потолок. На свою лампочку. Вернее, на абажур. Они долго сидели в тишине. На полу засыхали бутерброды. Закрыв глаза, Кузнечик представлял Вонючку. Как он собирает свои вещи. При всех открывает свои тайники. И объясняет колясникам, что перебирается в расписную комнату. А они смеются и не верят. «Кому ты там нужен? — говорят они. — Эти ходячие просто пошутили». А Вонючка продолжает собирать вещи.

Кузнечик представил все это так ясно, что чуть не задохнулся. И сразу открыл глаза.

— Нет, — сказал он. — Я так не могу. Я сказал — приходи. Он знает, что это не шутка. Он примчится со всем своим добром... — Кузнечик замолчал. Что-то в горле мешало ему. Он зарылся лицом в колени, и они сразу стали мокрыми.

— Эй, перестань, — попросил Волк. — Мы сами с ним поговорим. Ты чего?

Горбач громко засопел в кулак. Кузнечик поднял заплаканное лицо и посмотрел на Волка:

— Ты с ним поговоришь, и ты его выгонишь. А я буду молчать и делать вид, что я ни при чем? Он мне поверил, а не тебе. А я, получается, не держу свое слово. Кто я тогда?

Волк отвернулся.

— Пусть будет, как он хочет, — сказал Слепой. — Пусть он держит свое слово. Только пусть не ревет. А этот Вонючка — он что, тяжелый, как танк?

Кузнечик не успел удивиться словам Слепого. Они услышали странный скрежещущий звук и одновременно вскочили. Дверь распахнулась, и на пороге появился шкаф. Потом они увидели, что это не шкаф, а большой ящик на колесах.

— Эй, помогите! — донесся из-за ящика задыхающийся голос. — Мне его не протолкнуть!

Волк и Горбач втащили ящик. В дверь он прошел только боком. За ящиком обнаружился Вонючка, прижимавший к груди распухший рюкзак и одетый в зимнюю куртку. На его голове красовалась полосатая шапочка.

— Вот я сколько всего привез, — сказал он гордо. — Глядите... — Вонючка увидел заплаканное лицо Кузнечика и замолчал. Потом покраснел. Очень медленно, начиная с огромных ушей.

— Ага, — сказал он. — Ага, — и стащил с головы разноцветную шапочку. — Понятно.

— Что тебе понятно? — грубо спросил Волк. — Протискивайся и закрывай дверь, не то сюда весь Хламовник сбежится.

Вонючка заморгал.

Горбач обошел ящик и постучал по нему.

— У тебя тут что, мебельный гарнитур?

Красавица заглянул в него сверху.

— Ой, там трактор, — удивился он.

— Не трактор, а соковыжималка, — обиделся Вонючка. — Я ее сам сделал. Очень полезная в хозяйстве вещь.

Кузнечик вытер мокрый нос о колено и улыбнулся.

— А это что? — Горбач выудил устрашающую на вид железную конструкцию.

— Капкан, — скромно ответил Вонючка. — Его я тоже сам сконструировал.

— Тоже очень полезная в хозяйстве вещь, — съязвил Слепой. Он подошел к ящику. Волк и Горбач ныряли в него, доставая все новые и новые вещи. Красавица ничего не трогал, боясь сломать. Слепой ощупывал то, что клали на пол.

— Чайник, — пояснял Вонючка. — Ванночки для фотографий. Набор инструментов. Чучело рогатой гадюки. Складная вешалка. Гитара...

— Эй, — перебил его Волк. — Ты умеешь играть на гитаре?

Вонючка почесался и посмотрел в потолок.

— Вообще-то нет.

— Тогда откуда она у тебя?

— Прощальный подарок соседей по комнате.

— Понятно. Унес все, что смог. Там хоть что-нибудь осталось?

Вонючка вздохнул:

— Тумбочки и кровати.

Он виновато уставился в пол. Кузнечик и Горбач засмеялись.

— Ясно, — сказал Волк. — Утром придут за этим ящиком.

— Не придут, — твердо сказал Вонючка. — Пусть только попробуют. Я предупредил, что в таком случае немедленно к ним вернусь.

Горбач поскользнулся на капкане и сел в салатницу. Кузнечик скорчился на кровати. Волк предупредил:

— Эй, мне нельзя много смеяться, слышите?

А потом был только смех и стон, и даже Слепой смеялся, а пронзительнее всех заходился Вонючка.

— Он вернется! Шантажист! Сосед по комнате!

— Вы не досмотрели! — кричал Вонючка. — Там еще много всего!

Они завизжали, сотрясая кровати.

Вдруг Волк выпрямился и сказал:

— Шшш... слышите?

Они умолкли — и услышали тишину. Тишину Хламовника, напряженно прислушивавшегося к их веселью.

На гитаре Вонючка играть не умел, зато умел на губной гармошке и знал девятнадцать песен, веселых и грустных. Он сыграл их все. В ящике оказалось еще много интересного. Например, паутина проводов, в которой запутался Горбач.

— Сигнализация, — объяснил Вонючка, распутывая его. — С сиреной.

— Интересно, — сказал Волк. — Полезная в хозяйстве вещь. Для нас — так просто незаменимая. Надо ее установить.

Они принялись устанавливать. После того как всю дверь опутали проводами и на нее

стало страшно смотреть, оказалось, что сирена не работает.

— Ничего, — безмятежно заметил Вонючка. — Где-нибудь обрыв, наверное. Я потом посмотрю.

Провалы Вонючки Кузнечик переживал болезненно. Но сигнализация оказалась единственным провалом. Капкан работал. Это выяснилось, когда Слепой на него наступил. Соковыжималка тоже работала. Бешалку установили в углу, и она выдержала две куртки и один рюкзак. Вонючка очень старался произвести хорошее впечатление. При каждом удобном случае он повторял, что все может делать сам, и бросался это доказывать, вываливаясь из коляски и резво ползая по комнате. Он показал, как умеет сам влезать на кровать и в коляску, и даже попытался покорить подоконник, но сорвался. Потирая синяк на подбородке, он выразительно уставился на Кузнечика. «Видишь, как я стараюсь?» — говорил его взгляд.

Волк удалился на свою кровать с гитарой и пытался играть — без особого, впрочем, успеха. Красавица сидел перед соковыжималкой и рассматривал свое отражение в ее блестящем боку. Слепой у стены подслушивал Хламовник, держа на весу ушибленную капканом ногу. Когда Вонючка уехал в туалет, после долгих заверений, что «в этих делах ему помочь ну совершенно не нужна», Горбач сказал Волку:

— Этот Вонючка — неплохой парень. И чего все на него ополчились? Говорят, никого подлеца в Доме нет. А он славный.

— Да, — сказал Волк, поглаживая гитару. — Он ничего. Симпатичный ребенок, немного увлекающийся шантажом. Поймал Слепого в капкан, свалился с подоконника, совершенно случайно сожрал четыре чужих бутерброда с сосисками…

— Он был голодный, — заступился за Вонючку Кузнечик. — Он на обеде не был.

— Я тоже не был, — вздохнул Волк. — Хотя, если завтра никто не явится за этой гитарой, я готов скормить ему еще два обеда.

Кузнечик успокоился. «Хорошо, что Вонючка догадался прихватить гитару, — подумал он. — И хорошо будет, если завтра за ней не придут».

— Где бы достать апельсин? — жалобно спросил Красавица. — Или лимон? Или еще что-нибудь выжимающееся? — он осторожно потрогал кнопку пуска соковыжималки — и быстро отдернул руку. Он очень боялся ее сломать. Все, что он трогал, ломалось как будто само собой.

— Спортсмен ссорится с Сиамцами, — сообщил Слепой. — Они сперли у него журнал с голыми тетками.

— Да, — сказал Волк. — Моральный облик мальчика удручет. А ты прямо как подслушивающее устройство, Слепой. Про Вонючку они еще не знают?

Слепой потряс волосами:

— Нет. Но гармошку уже расслышали.

Вонючка вернулся. Пристроился у двери и, тихо насвистывая, ковырялся в проводах сигнализации.

— Где бы достать апельсин? — спросил Красавица. — Или хотя бы мандарин. Не знаете?

— Где бы достать самоучитель игры на гитаре? — спросил Волк. — Как вы думаете, может, у Лося найдется?

Пронзительный вой сирены подбросил всех в воздух. Красавица зажал уши. Сирена надрывалась две минуты, потом стало тихо.

— Работает! — радостно сообщил Вонючка, тараща на всех огромные и наглые глаза.

Уходя на завтрак, они оставили сигнализацию включенной, а у двери поставили замаскированный капкан.

— Может, когда мы вернемся, в нем уже кто-то будет, — сказал Горбач.

В столовой присутствие Вонючки за их столом вызвало скандал. Спортсмен демонстративно отсел подальше, стая последовала его примеру. Длинный стол младших ходячих разделился посередине безлюдной полосой. Даже старшеклассники это заметили.

— Гляньте, у малявок раскол, — сказал старшеклассник Кабан.

— Подрастают, — пренебрежительно отметил Хромой. — Становятся таким же дерымом, как мы.

Младшие, расслышавшие этот обмен мнениями, гордо выпрямились и покраснели. Старшие сравнили их с собой!

Коляски сумрачно разглядывали Вонючку.

Вонючка сиял и свинячил вокруг своей тарелки.

Возвращаясь из столовой, Кузнечик остановился у щита с объявлениями. «Разлученные». Вечерний сеанс. 2 серии. Значит, в десятой вечером никого, кроме Седого, не будет. Кузнечик побежал догонять своих.

Вонючка попросил разрешения нарисовать что-нибудь на стене. Волк вытащил банки с краской и выделил ему угол. Вонючка рисовал долго. Карандашом, потом гуашью — до самого обеда его не было слышно, только из рисовального угла доносились вздохи и шуршание, свидетельствовавшие о муках творчества.

Волк раздобыл у кого-то самоучитель игры на гитаре. Он читал его очень внимательно, но Кузнечику показалось, что у него не выходит сосредоточиться. Красавица разжился апельсином и сидел с ним перед соковыжималкой, не решаясь ее включить. Кузнечик и Горбач установили на тумбочке печатную машинку — еще один дар ящика, которым никто, кроме Кузнечика, не заинтересовался. Кузнечик сразу понял, что машинка нужна ему. Попасть пальцем протеза по клaviше с буквой намного легче, чем эту же букву нарисовать так, чтобы кто-то смог догадаться, что именно за буква имелась в виду. Ручки выскальзывали из искусственных пальцев, буквы получались корявыми и рваными. Поэтому, увидев машинку, Кузнечик обрадовался и попросил поставить ее на свою тумбочку. Пока Горбач заправлял в нее листы бумаги и печатал на них все подряд, он представлял, какое письмо напишет Рыжей и Смерти и как опустит его в лазаретный ящик — специальный ящик для писем, висевший возле лазаретной двери. В Хламовнике шумели намного громче обычного.

— Может, готовятся на нас напасть? — сказал Горбач.

— А может, нападают друг на друга? — предположил Кузнечик.

Горбач отстукал слово *нападение*.

— А может, это рушится империя Спортсмена, — сказал Волк. — И сейчас в нас полетят ее осколки.

В дверь кто-то тихо поскребся.

— Ну вот, — сказал Волк. — Что я говорил? Уже летят.

Красавица испуганно спрятал апельсин за спину.

— Или все же за ящиком пришли, — сказал Слепой.

Но это был Фокусник. Грустный Фокусник в полосатой рубашке, с костылем под мышкой и бельевым мешком.

— Здравствуйте, — сказал он. — Можно войти?

Он был похож на человека, сбежавшего от беды.

— Там что, и правда что-то рухнуло? — испугался Горбач.

— Тебя отпустили? — удивился Кузнечик. — Я думал, не отпустят.

— Там два новичка сразу прибыло, — застенчиво объяснил Фокусник. — Я собрался — и сразу сюда. Им теперь не до меня, а я давно хотел к вам. Можно мне остаться? — он покосился на стену и быстро отвел глаза.

— А что-нибудь полезное ты принес? — поинтересовался Вонючка.

— Он умеет фокусы показывать, — быстро сказал Кузнечик, краснея за Вонючку. — С платком и с картами. И с чем угодно.

— Проходи, — сказал Волк. — Выбирай кровать. А что за новички?

Фокусник, постукивая костылем, прошел к свободной кровати и положил на нее вещи.

— Один нормальный, — сказал он. — А второй страшный. С родинкой. Как будто шоколадом облили. Почти все лицо, — Фокусник прикрыл ладонью лицо. — Ой, гитара! — ахнул он, опуская руку и впиваясь взглядом в гитару на подушке Волка. — Откуда?

— Умеешь? — живо спросил Волк.

Фокусник кивнул. Он смотрел только на гитару.

— Повезло, — обрадовался Волк. — Я уж боялся, что свихнусь над этим самоучителем. Давай, сыграй что-нибудь.

Фокусник простучал к кровати. Волк уступил ему место.

Устраиваясь с гитарой, Фокусник деловито откашлялся, как будто собирался петь.

— Вкус меда, — объявил он.

Кузнецiku сразу вспомнилось, что и фокусы свои он объявлял специальным, не своим голосом. Фокусник заиграл и, действительно, запел, хотя петь его никто не просил, но ему, должно быть, хотелось показать все свои таланты сразу. Голос у него был тонкий и пронзительный, играл он уверенно и пел тоже. Видно было, что он по-настоящему умеет играть и петь и не стесняется своего голоса. Вокруг него собирались все, кроме Вонючки, который продолжал рисовать.

— И я вернусь к меду и к тебе, — выводил Фокусник трагичным фальцетом, раскачиваясь над гитарой, и сам себе подпевал, — турум-турум, — встряхивал волосами и отрешенно смотрел в стену. В конце песни голос его совсем охрип, а глаза увлажнились. Следующую песню он только играл и даже объявлять ее не стал. Третью песню он назвал «Танго смерти» и на ней в первый раз сбылся. Кузнецiku от песен Фокусника стало грустно, остальным, как ему показалось, тоже.

— Еще я на скрипке умею, — сказал Фокусник, разделавшись с «Танго смерти». — И на трубе. И на аккордеоне. Немножко.

— Когда только успел? — удивился Волк.

Фокусник скромно потренькал струной.

— Да вот так. Успел.

Самодовольство вдруг исчезло с его лисьего личика, оно жалобно скривилось, и Фокусник отвернулся.

«Вспомнил что-то Наружное, — подумал Кузнецик. — Что-то хорошее». Ему стало жалко Фокусника и он попросил:

— Покажи фокус с платком. Тот твой, самый лучший.

Фокусник зашарил по карманам.

— Не всегда получается, — предупредил он. — Мало тренируюсь.

Вонючка отъехал от стены и с интересом уставился на Фокусника.

За его спиной, в отведенном ему углу, открылось что-то страшное с вывороченными ноздрями, пупырчатое и пучеглазое. Все сразу увидели это «что-то» и забыли про фокусы.

Фокусник перестал искать платок.

— Это кто? — спросил Волк в ужасе. — Ты кого нарисовал?

— Гоблина, — радостно сообщил Вонючка. — В натуральную величину. — Правда, хорошенъкий?

— Да, — сказал Горбач. — Прямо хоть завешивай.

Вонючка счел это комплиментом. — Нет, правда? — спросил он. — Кровьстынет?

— Точно, стынет, — согласился Горбач. — А еще сильнее остынет, если забрести в тот угол ночью с фонариком.

Вонючка захихикал.

— Покажи, как делать сок, — попросил его Красавица, протягивая апельсин.

Вонючка схватил его и быстро очистил. Разделил на дольки и, давясь ими, объяснил оторопевшему Красавице:

— Маловато тут для сока. Лучше просто так съесть.

Он великодушно протянул Красавице одну мокрую, раздавленную дольку:

— Ешь, это полезно. Куча витамина С.

Взаимопонимание белых ворон

[Курильщик]

Тишина. Запах пыли и сырости. Вот что такое Перекресток ночью. Я сидел возле кадки, в которой росло что-то обглоданное и пересохшее, трогал этот скелет растения и читал надписи, покрывавшие кадку сверху донизу. Кабан, Тополь, Гвоздь... Все клички незнакомые. Буквы почернели и выглядели, как полустертый орнамент. Но кое-что можно было разобрать.

Перекресток освещался двумя настенными лампами. Одна – с бордовым абажуром – освещала угол с телевизором. Вторая – с треснувшим синим плафоном – низенькое продавленное кресло у противоположной стены. А вся центральная часть – с диваном, полузасохшими растениями и мной – тонула в полумраке. Поэтому читал я почти на ощупь, воображая себя Слепым. Иногда с помощью зажигалки. Довольно бессмысленное занятие. Но лучше, чем ничего.

«Кистеперые рыбы вымерли не совсем», – озадачила меня очередная надпись. Сразу после нее некий Завр сообщал: «Ухожу тропой койотов». Куда – не уточнил. Наверное, тоже вымирать. Ниже было стихотворение. Посвященное девушке. «Твоим рукам, твоим ногам, тарам-парам-тарам-парам...» Стихотворение удивило меня сильнее, чем незнакомые клички. Жутко корявое, оно было посвящено какой-то конкретной девушке. Иначе автор не упоминал бы «дивные пегие косы». Я не совсем понял, что значит «пегие», но это явно был не тот цвет, которым принято восхищаться.

Мы с девушками общались мало. Вернее, вообще не общались. Хотя их корпус соединялся с нашим общей лестницей, насколько я знал, к ним никто никогда не поднимался. В своем корпусе они жили на третьем этаже, который в нашем занимали воспитатели. На втором располагался лазарет, а что было на первом, я не знал. Наверное, таинственный бассейн на вечном ремонте. Мы с девушками сталкивались только в кинозале на субботних сеансах. Они сидели отдельно и в разговоры не вступали. Во дворе гуляли только по территории, примыкавшей к их крыльцу. Я не знал, кто установил такие строгие правила, но догадывался, что не дирекция. Иначе они бы нарушались. А они не нарушались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.